ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БИСЕР
или
ОХЛАМОНСТР

глупости и дурости антилингвиста

http://unism.pjwb.org
http://unism.pjwb.net
http://unism.narod.ru

На всякий случай предупреждаю тех, кто (почти как я) лишен чувства юмора: не следует относиться к отходам языковедческого философствования чересчур серьезно. Кунсткамеры подобного рода нужны лишь для того, чтобы иногда вспомнить какие-то из замыленных бытом находок, переживаний, планов — и прочих идей. Чисто случайно, от поверхностной ассоциации. Есть книжки, которые невозможно читать, — но полезно (хотя бы их автору) время от времени в них заглядывать.

* * *

Когда мистически настроенный лингвист обнаруживает где-нибудь в Юго-Западной Азии надпись, следует сакраментальная фраза: текст написан на санскрите, с вкраплениями местных наречий. Такова антинаука. Научный подход: текст написан на одном из местных языков, который в каких-то чертах напоминает санскрит. Это тем более так, учитывая высоколобую бесписьменную традицию искусственно культивируемого языка элиты; письменная речь прежде всего востребована живыми языками, для сугубо практических нужд.

* * *

Народная этимология с точки зрения лингвистической науки — полная чушь. Однако язык как культурное явление совершенно естественно вбирает в себя и такие пласты, без них он был бы недостаточно богат. Возможность «переделывать» слова — основа разума. Азбука марксизма: мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его.

* * *

По-русски бряцать словами приличному человеку строго не рекомендуется. Но если тому же человеку приходится изъясняться по-персидски, он вынужден بزبان فارسی حرف زدن — то есть, буквально, стучать словами персидского языка. Видимо, слова у них стоят дорого: не говорят, а чеканят… По-английски: *to coin a phrase*. Человек мастеровой — говоря на каком-то языке, пересоздает его.

* * *

Тот факт, что словообразование (оно же грамматика и морфология) арабского языка практикует перемешивание гласных на фоне относительно постоянной основы, указывает на исторически первичную роль переходных процессов по сравнению с вокализацией. Становление языка начинается с яркой неоднородности, с характерного тембра. Гласные — лишь способ интонирования; поначалу их роль как раз и ограничивается передачей интонации, личного отношения, тогда как согласные — по существу. В чем-то голосим, в чем-то соглашаемся.

* * *

В учебниках рисуют генеалогические деревья, якобы иллюстрирующие происхождение современных языков… Привычка идет из ранней первобытности: и родил Адам такого-то, а тот, в свою очередь породил еще кого-то там… Реальное развитие языков далеко от древообразности. Здесь не редкость перекрестные влияния и попятное движение, сложное переплетение устного языка и письменности, логики и истории. Не было никогда у человечества единого языка; многочисленные древние языки были просто другими (хотя в чем-то, конечно, похожими друг на друга), а потом понемногу перепутывались. Унификация — воспоминание о будущем, когда у всех все будет — как у всех, и придется одинаково про это говорить.

* * *

Русскоязычные, воспитанные в латинице, не поймут, что «уж замуж невтерпеж» — это всего лишь правило орфографии…

* * *

Значение всякого слова зависит от контекста. Само по себе произнесенное, ни одно слово не значит ровным счетом ничего. Важно, кто его произнес, в какой связи, с какой интонацией. Если Ваш взгляд случайно упал на фрагмент текста — и Вы что-то себе при этом представили, значит, Вы были предрасположены воспринять слово именно так, и что-то ответственно за эту предрасположенность. Общество делает каждого контекстом для себя.

* * *

По-русски и пустое место к чему-нибудь, да прилагается!

«Непонятно» — значит «я не понимаю».

«Не понятно» — значит «ты не умеешь объяснить».

Бедные арабы и китайцы! — как они живут без пробелов и заглавных букв? Точно так же, как мы без чего-то, ведомого только им…

* * *

Говоря о зарождении языка почему-то все упорно сводят к речи. Изо всех сил пытаются отыскать на костях следы былых речений… Но язык — не только речь. Далеко не факт, что речевая деятельность сыграла в его развитии определяющую роль. Вполне возможно, что, наоборот, речевая способность развивалась под давлением культурной необходимости, когда людям уже было, что сказать, — а физиология отставала, сдерживала.

* * *

Чашка чая, кошка кофе, сошка соку, мошка молока, пешка пива или вешка вина…

Но всего полезнее — вошка воды.

* * *

В языке не бывает «правильно» или «неправильно». Каждый говорит на своем собственном диалекте — и другие ему не указ. Надо прислушиваться да присматриваться — и делать выводы. Наблюдать, как одно перетекает в другое, как рождается новое на стыке миров. И кое-что, возможно, позаимствовать и для себя.

* * *

Слова вроде «позволить», «дозволить», «вызволить» явно родственны слову «воля». Однако некоторых они наводят на странные мысли о некоем (виртуально существующем) корне -*звол*-, поскольку приставки *з*- они в русском языка как-то не усматривают… Казалось бы, что проще? Есть предлог *из*, который так любит превращаться в приставку: из мены — измена, из тока — исток… Отсюда обширнейший зоопарк российского глагола: извлечь, изобразить, изукрасить или изуродовать, истратить, извергнуть, избыть… И в том же ряду: изволить.

Интересно, что в качестве приставки *из* решительно избавляется от своих предложных коннотаций: движение или выглядывание изнутри наружу, использование в качестве материала, причинная связь и др. Основное значение приставки — полнота и завершенность, доведение до предела. Какие-то связи с предложным прошлым у приставки сохраняются — но лишь очень смутно, на заднем плане. Поэтому, например, «изобличить» означает «выставить на всеобщее обозрение», «придать вполне отчетливый облик» — хотя и предполагается, что собственное обличие поставляет для этого необходимый материал. Аналогично, «изгнать» — это не просто гнать из одного места в другое, а совершенно отторгнуть, без возврата. Соответственно, «изволить» — не только исходить из доброй воли, но и снисходительно обещать полноту участия.

Дальше все ясно: конкретизация этого изначального волевого акта, указание на его предмет, условия и прочие обстоятельства. Звук [и] в речи естественно выпадает, и вместо «по-из-воление» имеем «позволение» и т. д.

Наглое возражение: а как же «соизволить»? — почему здесь никакой редукции?

Не менее наглый ответ: а кто сказал, что нет редукции? — в разговорной речи она отчетливо наблюдается, и только в тщательном, акцентированном произношении конструкция восстанавливается целиком.

Если копнуть глубже, можно обратить внимание, что буква -*о*- в приставке *со*- — это вовсе не то же самое, что внешне такая же буква в приставках *по*- или *до*-: на самом деле это скрытое *съ*-. Потому и редукция идет по-разному: «съесть» не превращается в «сесть», а «совет» не всегда «свет». В других коннотация приставка *съ*- замечательно редуцируется: снять, свести, слямзить, сплясать, створ… Но в значении совместности — отсутствием редукции мы как бы дополнительно подчеркиваем объединение качественно разного, а в научных текстах (не только русских) не редкость написание приставки *со*- через дефис. Так уж сговорились.

* * *

Многозначность русских предлогов — неиссякаемый источник коммуникативных ляпов, юмористических экскурсов и наукообразных измышлизмов. Например, всем ясно, что в

Сижу на пляже под навесом…

суть дела несколько иная, чем в пушкинском

Сушу на солнце под скалою.

В первом случае мы чем-то отгораживаемся от солнечных лучей — во втором, наоборот, ищем их общества, и ради этого размещаемся там, где ничто не препятствует их доступу. Сушить ризы в тени скалы может, на первый взгляд, показаться глупостью — но и это вариант, если ткань требует бережного обращения (чтобы не выцвела, и не покоробилась), а погода жаркая и сухая. Так что классик, как всегда, точен.

В переносном смысле предлоги примыкают к той или иной прямой коннотации. Писать книги под псевдонимом — отгораживаться им от нетактичной публики; и напротив: выступать под кайфом — значит, являть публике себя, так сказать, во всей красе (или неприглядности).

* * *

Чтобы сохранить словарный запас, надо регулярно его расходовать.

* * *

По-персидски «память» звучит как [йад]. Очень симптоматично. Научить чему-то — у них: «дать память». Новые россияне сказали бы: выпей йаду!

* * *

Словарь языка — не константа, это лишь набор возможностей. В потоке живой речи иной раз рождаются такие слова, которые говорящий и не вспомнит на следующий день, — однако в тот момент они воспринимаются собеседниками как нечто совершенно естественное и вполне понятное. Изредка словечко упадет в душу — и врастет в историю языка либо как полноценное слово, либо как диалектизм, окказионализм, или дань моде («мем»).

* * *

Сразу после развала СССР, когда мировое буржуинство бросилось наперебой помогать новоиспеченным рынкам, русский язык потерял статус великого и могучего, и население с энтузиазмом принялось осваивать забугорные наречия (многие в тайной надежде когда-нибудь проснуться за бугром). Но тамошнее начальство быстро сообразило, что без козла отпущения собственные массы в дурости не удержать — и быстренько, по старой привычке, определило в козлы Россию. Чтобы не переписывать пропаганду — экономия! Тогда российские козлы встали на рога и сказали: а на фиг? не уважают нас там — не будем у них учиться. Мода на инглиш быстренько испарилась, и мы из принципа будем теперь говорить только по-русски, хотя бы и с неистребимой примесью англицизмов.

Тенденция самоизоляции всегда сопровождается своей противоположностью, чутким вниманием к происходящему на той стороне. Противостояние — способ общения. Язык врага усваивают быстрей, чем говор экзотического племени. Воздвигая барьеры между людьми, мы объективно способствуем их сближению.

* * *

Каждый общественный слой говорит на своем языке — но это не субъективно, не способ отгородиться от чужаков, а следствие особого экономического уклада. Классовая суть образа жизни находит выражение в особенностях языка. Вспомним Ларошфуко: «Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей». А боль и нищета выплескиваются в больную и нищую речь.

* * *

Самое интересное в языкознании — причины изменений. Почему тысячи и миллионы людей вдруг начинают говорить не так, как раньше? Чем соседское слово милей своего, исконного? По указке сверху язык изменить нельзя. Даже сегодня, когда технологии обработки мозгов достигли невиданных высот, лингвистические предписания население саботирует до последнего, и требуется не одно десятилетие, чтобы политически корректные языковые формы прочно вошли (точнее, были палками вбиты) в обиход.

Но, конечно, курьезы всякие бывают… Например персидское درشکه [дорошкэ] считают заимствованием из русского языка («дрожки»). Однако, согласитесь, странно, что предмет, который (или аналог которого) персы использовали, когда русских и в проекте не было, вдруг решают назвать по-русски. Нет ли тут обратного заимствования? — русские нахватались немало персидских слов, а тут еще и народная этимология связывает с дорогой… В конце концов, персы могли позаимствовать из русского свое собственное название, которое после таких путешествий стало не очень похоже на себя.

Да, конечно, всем ясно, что была какая-то древняя основа со значением «тащить», «тянуть»… Поэтому и «дорога» первично означает «протяженность». Но как оно попало в Европу — ясности нет. Реальная этимология — вне языкознания, она в истории взаимодействующих культур.

* * *

Комбинированные залоги: побуждение к страданию и страдание от побуждений, побуждать страдая и страдать побуждая…

* * *

Коммуникационные системы возникают вместе с возникновением идеи времени — одно влияет на другое, подстегивает расслоение времени на прошлое, настоящее и будущее. Животному довольно «здесь и сейчас»; даже способность предвидения (или память) вытекает из того, что присутствует в данный момент, — животное не может мечтать или вспоминать «просто так», его прошлое и будущее синкретически впаяны в настоящее. Поэтому и сигнальная система сводится к выражению текущего состояния: удовольствие, боль, предвкушение, тревога… Развитые «коммуникационные системы» у пчел или муравьев — сугубо пространственны: они рисуют карту, но не предполагают действия.

Всякое сообщение отделяет от своего времени, переносит в прошлое или будущее. Оно воспринимается как продукт деятельности (прошлое) и как побуждение к деятельности (будущее). Язык становится коммуникативной системой по мере развития общественного разделения труда.

* * *

Лингвистика чем-то сродни ядерной физике. Например, для легких ядер энергетически выгодно слияние, для тяжелых — радиоактивный распад. Самые тяжелые элементы вообще не встречаются в природе, мы их синтезируем. Точно так же, мелкие единицы языка предпочитают складываться в осмысленные комбинации; слишком длинные — распадаются на смысловые ячейки. Например, в русском языке очень много слов с ударением на второй и третий слог с конца; достаточно частотны слова с ударением на четвертом слоге: *замкнутое сообщество, опытная путешественница*… Встречаются также слова с ударением на пятом с конца слоге: *жульническая схема, поразительнейшее обстоятельство, излишнее рассусоливание, станция Шаболовская*… Слова с ударением на шестом слоге встречаются разве что в специальной литературе как искусственные конструкции, профессиональный жаргон: *качественностная аггрегация*. И так на любом уровне, в любой из составляющих языка: фонология, морфология, синтаксис, стилистика…

Замечая, что и в других науках наблюдается нечто подобное, можно предположить, что это, как минимум, универсальный закон человеческой деятельности; поскольку же строение деятельности отражает строение мира, возникает сомнение в осмысленности чересчур навороченных многомерных построений, к которым неравнодушны теперешние, вскормленные позитивизмом теоретики…

* * *

В языковом вузе на вопрос «Что такое миллион?» двоечник ответит как-то арифметически, а продвинутый лингвист тут же скажет: «Это тысячная часть *она*, точно так же, миллиметр — тысячная часть метра; аналогично, миллиард — тысячная часть *арда*; мы не знаем заранее, что такое *он* или *ард* — но мы можем всегда взять от них тысячную часть и соответственно ее обозначить в языке».

* * *

Должен признать (без ложного стыда), что лишь отдаленно знаком с палеосемитскими диалектами (а кто-то, точно так же, не знает про меня). Однако нисколько не сомневаюсь, что знаменитая арабская система словообразования (с аранжировкой согласных различными гласными) возникла вовсе не оттого, что древние семиты обладали утонченным слухом и склонностью к математике; наоборот, именно неразвитость первобытного слуха (и голоса) позволяла одинаково понимать самые разные звучания — и все гласные были на одно лицо, в любой позиции. Согласные активны, тут надо поработать… А гласная что? — как споешь, так и ладно. Поначалу различие гласных воспринималось как чисто интонационное; потом разные интонации закрепились за разными делами: то ли вещи по интеллектуальным полочкам расставлять, то ли брать что-то с полочки и заставлять по-своему шевелиться. Имена и глаголы. Дальше — больше: определенность интонаций обращает внимание на качественное своеобразие (одно и то же в разном фонетическом контексте звучит по-разному). Вот вам и комплект арабских гласных, и странная на европейский взгляд комбинаторика…

* * *

Если бы понятия существовали в языке — никакие личные встречи были бы не нужны. Однако мы встречаемся, и пытаемся согласовать наши действия… В частности, подолгу разговариваем, чтобы привести одни понятия в соответствие другим. Одно дело — просто назвать. Другое — превратить в факт культуры, символ достижимости. Разговоры тоже труд. Общение вырабатывает понятия из имен.

* * *

Латинский язык — уникальное явление. В нем нет артикля. И это в языковом окружении, не мыслящем речи без подобных маркеров определенности. В греческом языке (предшественник и соперник!) артикль — полновесная часть речи, со всеми возможными флексиями. То же в германских языках. Позже в Европе артикли редуцируются до неизменяемого минимума, станут собственно «частицами» (article).

В русском языке артикля тоже (официально) нет. И можно было бы искать родства с латынью. На самом же деле здесь все наоборот: исчезновение артикля — результат позднейшей редукции. Правда, артикли в русском языке стояли после существительных (как в нынешних молдавском, румынском, болгарском); их остатки сохранились до сих пор (преимущественно в разговорной речи). Аналогично — концевой неопределенный артикль в персидском языке.

Что было в первобытные времена — определенно не знаем. Можно строить гипотезы о приоритетах, о первичности или вторичности артикля. Но лучше, все-таки опираться на факты, а не притянутые за уши параллели.

* * *

Изучение языка — отделяет нас от него. Язык противостоит нам как внешний объект, который можно разглядывать со стороны. Отсюда формальный подход, заучивание правил, словаря, идиоматики… И если мы говорим как иностранцы — это от недостаточного знания…

Однако знание — лишь одно из отношений человека к действительности. И не всегда самое важное. Иногда полезнее не изучать, а осваивать — использовать на практике, не слишком задумываясь о теории. И это еще не все. От внешнего отношения к языку следует переходить к культурному отношению: не только осваивать, но и осваиваться, обживаться в языке, проникаться, пропитываться им. Тогда язык станет и эстетической опорой, и логикой, и способом относиться к миру. На любом уровне, язык представляет манеру поведения, образ жизни, схемы деятельности. Именно ради них, для приобщения к иной культуре, мы занимаемся

чужим языком — чтобы постепенно сродниться с ним. Без этого язык будет труден — какая уж тут свобода самовыражения! Стоит ухватить логику языка, его дух, — и можно говорить без особой словарной эрудиции, с каким угодно произношением, — все равно поймут.

* * *

Пример из студенческого фольклора:

Все мы знаем, что $E = mc^2$.

Вопрос на экзамене: чему равняется dE ?

ответ на двойку: $dE = c^2 dm$

ответ на тройку: $dE = c^2 dm + 2mcdc$

ответ на четверку: $dE = (dm)\cdot c^2 + m\cdot(2cdc + c^2(\ln c)(d2))$

отличный ответ: $dE = (dm)\cdot c^2 + m(d\cdot)c^2 + m\cdot(2cdc + c^2(\ln c)(d2))$

на пять с плюсом: $(dE) = mc^2 \oplus E(d =)mc^2 \oplus E = (dm)\cdot c^2 + m(d\cdot)c^2 + m\cdot(2cdc + c^2(\ln c)(d2))$

К вопросу об идиоматике формальных языков — в контексте поиска истины.

* * *

Исторически, все слова в языке возникали как имена собственные: первобытный анимизм, античные боги как одушевленные качества (особенно абстракции)… Это вполне естественно, поскольку всякое явление распознается поначалу как нечто уникальное, единственное — и лишь потом появляются другие примеры «того же самого» и возникает общая идея. Так «Наполеон» порождает множество «наполеонов», а «Вселенная» — многие «вселенные». Иначе: в имени собственном всеобщее, особенное и единичное слиты воедино; имя собственное — синкретично; в нем еще не выделены в чистом виде ни общая идея, ни способы ее воплощения. Поэтому и употребляться имя собственное может как в единичном, так и в особенном или всеобщем смысле. Какое употребление более обычно — определяется языковой традицией, то есть историей народа и его языка.

В древности все имена людей были «говорящими». Потом уже, в связи с миграцией имен из одного языка в другой, старые смысловые связи оказались утраченными — но возникли новые, не связанные с исходным значением слов. Так, например, христианские имена на Руси ассоциировались с православными святыми (безотносительно к переводу имени с греческого, еврейского или латыни) — соответствующий святой считался покровителем всех, кто назван в его честь.[1] Это лишь продолжает первобытность, когда имена были своего рода «заклинаниями», призванными дать человеку какие-то качества. На всякий случай сохраняли оба имени: одно «свое», другое христианское; впоследствии «свое» имя превратилось в кличку, в прозвище; от этих прозвищ и пошло большинство фамилий — тоже «имя-заклинание», до сих пор указывающее на круг «покровителей» человека, на его «род».

Точно так же, названия стран, гор, морей, рек, народов… Все они имели некоторое всеобщее значение на каком-либо языке — однако это значение стерлось при переносе имени в другую языковую среду.

* * *

Повелительной наклонение второго лица единственного числа от глагола «лошадеть» (разживаться лошадями на почтовой станции) — «лошадей». Поэтому строчку из старой песни можно воспринимать и так: Ямщик, не гони! Лошадей. — то есть, не сачкуй, а работай!

[1] Ср. испанские длинные имена: больше имен — больше покровителей.

* * *

Коран — не только собрание бытовых рецептов, но и пособие по литературному арабскому языку. В одну и ту же эпоху, с теми же целями, созданы два искусственных языка: единый арабский и церковнославянский. Оба используют наречия разных племен, перерабатывая их под стандарты более развитого соседа. В обоих случаях возникает новая система письма — под влиянием ранее сложившихся, но с учетом природы своего языка. Однако исторические судьбы этих языков различны: если арабский стал символом единства, национального самоутверждения, языком обширного союза государств, — церковнославянский так и остался узкокелейным явлением, поповским жаргоном, совершенно непригодным для реальных дел. Не было единства славянских народов, остались они на периферии истории, поделенные на сферы влияния иных культур. Это выражается и в идеологии: ислам стал мировой религией, далеко выходящей за пределы собственно арабского мира, — а славян заставили отказаться от своих верований в пользу иноверцев.

В советское время русский язык начал, было, становиться языком межнационального общения — однако внутренняя противоречивость социалистической идеи не только привела к крушению СССР, но и (задолго до этого) лишила языковое сознание экономической опоры.

На реальных примерах языковой интеграции мы можем исследовать общие законы, чтобы изучать аналогичные явления прошлого не по пропагандистским выдумкам, а по их собственной природе. Вместо идеалистических сказок о санскрите — анализ исторических условий его возникновения и выяснение его действительной роли в среде живых языков разных эпох.

* * *

Когда буржуи начинают патентовать языковые явления — смешно и грустно. Если есть в языке слово — никому не дано запрещать людям его использовать, даже если ушлый делец пристроил его в логотип своей фирмочки. Имена собственные — частный случай. Чем Adidas или Chanel лучше Ивана или Папандопуло? В каждом языке имена собственные легко становятся нарицательными — так что теперь, запрещать бесплатные названия для винчестера (вместе с наганом, маузером и калашом), макинтоша, брегета, болоньи, кашемира, оливье? Точно так же, патентовать языковые обороты, идиомы, — верх неприличия. Но язык не сводится к одним лишь словесам. Это еще и графика, включая всевозможные формулы и пиктограммы. Наконец, есть художественный язык — который вовсе не привилегия отдельных исторических фигур. То, что сказал (любыми средствами) хотя бы один, — вправе повторить любой, в своем, неповторимом контексте. У продукта (подлинно) человеческой деятельности нет автора.

* * *

«Теория» — это из греческого языка, а «факт» — из английского…

* * *

Слова живут долго — но каждая эпоха наполняет их собственным содержанием, зачастую не оставляя от прошлого ничего, кроме формы. Современные учебники по стилистике, например, рекомендуют воздерживаться от глагола «иметь», поскольку для современного читателя (или слушателя) на первый план зачастую выходит непристойная коннотация. Во времена Пушкина тот же глагол широко употреблялся на всех уровнях языка в своем прямом значении, а также в качестве обычной связки. Когда Александр Сергеевич (с типично московским произношением) говорит

Имел он счастливый талант…

он не имеет в виду ничего такого, о чем можно было бы сегодня поразмышлять. В наши дни редактор предложил бы автору иную фразеологию: у него был талант…

Однако речь не о филологии. Есть гипотеза, что фундаментальная роль глаголов «иметь» и «быть» в большинстве языков связана с универсалиями человеческой деятельности, субъект которой всегда оказывается в двойственном положении: с одной (пассивной) стороны, он исходит из действительного положения вещей — но с другой стороны, субъект активен, он преобразует действительность, делает ее продуктом (который потом вполне может оказаться объектом другой деятельности). Во французском языке, например, формы *passé composé* образуются с глаголом *être* там, где мы объективно переходим от одной ситуации к другой (рождаемся, умираем, приходим и уходим); но едва вступает в игру сознательное намерение — требуется вспомогательный глагол *avoir*, причем даже с теми глаголами, которые обыкновенно употребляются в пассивном значении и притягивают связку *être*. Аналогичный явления легко обнаружить практически всюду — включая далекие от европейской грамматики языки, вроде турецкого или китайского, где глагол как грамматическая категория превращается в чистую условность.

Очень может быть, что древнейшие языки отличались не только синкретизмом фонологии, но и своего рода грамматическим синкретизмом, когда очень разные, на современный взгляд, явления воспринимались как вариации одного и того же. Логично предположить, что начиналась грамматика с простейшей структуры: различение двух (противоположных) сторон деятельности, пассивного и активного отношения к миру. Детали придут потом.

В этом контексте можно (и нужно) говорить о социальной природе языка. В какие-то эпохи активное преобразование мира выходит на первый план — и этому отвечает, как минимум, особая стилистика, с преобладанием грамматических выражений намеренности. Но когда история топчется на месте (или откатывается вспять), возникает иллюзия данности бытия, ощущение слабости и беззащитности человека; вот тут на первый план вылезают пассивные конструкции, которые проповедники воли земных и «небесных» властей торопятся закрепить в канонах «правильной» речи.

* * *

«Змейка» и «змеюка» различаются одной буквой — но как по-разному мы к ним относимся! «Змей» и «змий» , вроде бы, одно и то же — но обитают в совершенно разных контекстах.

* * *

Человек воспринимает не мир сам по себе, а свои попытки что-то в мире сделать. Получилось — одно название, не получилось — другое. В грамматике или фонологии те же условности. Никаким прибором не измерить субъективного отношения к вещам. А то, что удается измерить, тут же перестает нам принадлежать, и мы теряем к нему всякий интерес.

* * *

Традиционно, большая наука возводит матерное обозначение женского полового органа к процедуре мочеиспускания. Не убеждает. Очень уж нехарактерное для русского языка словообразование. Несомненно, слов на *-да* в русском языке куда больше, чем слов на *-нет*; но если приглядеться — ну не та у них конструкция, хоть ты тресни! Можно, конечно, воображать себе, что «слюда» — от «слюнявить», а «борода» — от классовой борьбы (вспомним старика-Фиделя!). Только это называется народная этимология, игра слов, — и к серьезной лингвистике отношения не имеет.

Есть подозрение, что мочеполовая этимологизация возникла задним числом, как попытка переосмысления чего-то заимствованного. Точно так же, как ударная интерпретация мужского орудия, или библейская подоплека полового акта. Чтобы это выяснить, надо таки работать, а не кормить публику неуместными в русской (пусть даже низовой) речи сказочками.

* * *

Буквы даны человеку вовсе не для того, чтобы употреблять их все в каждом предложении. Нет-нет, это не только про китайцев! И даже не только о языке…

* * *

Кто такой Ач — мы не знаем. Но определенно можем сказать, что у него есть *зад* и *перед*, и такая выдающаяся часть тела как *уд*, — поскольку в русском языке они время от времени упоминаются. Можно даже допустить что у Ача имеется *под*. А, вот, что такое *СД* — остается загадкой…

* * *

Грамматическая категория рода в языке — не игра случая. Имена приходят из разных источников — и бывает разно:

1) Внешние заимствования. Чаще всего, чужестранные имена приходят со своим родом — но это не всегда удобно, и язык переделывает либо оригинал, либо грамматику. Формы «палетот» и «кофий» не прижились в нормативном языке — но с пальто народ все же уломал власти на средний род, а на кофе пока не смог (хотя все к тому идет).

2) Собственное словотворчество. Истоки труднее всего отыскать под пластами истории — документальных источников почти нет. Тут важно понять принцип: все из деятельности. Собственно половая атрибутика ни при чем (хотя какие-то грубые ассоциации неизбежно присутствуют). Но важнее место в культуре, общественное распределение (а потом и разделение) труда. Кто чем занимается — так мы это и зовем.

3) Внутренние заимствования. Формальное порождение имен или перенос значения (часть — целое, ассоциация по смежности и др.). Когда первичный лексикон (отражение древнейших уровней культуры) уже набран, включается рефлексия: имена возникают как метафора, или аналогия. Тут мы идем на поводу у сложившихся форм, с их родовой определенностью. Однако откуда это у них? От лексического прошлого, когда были они самостоятельными словами. И род приходил либо извне, либо от места в деятельности.

* * *

Английский язык очень похож на китайский — особенно если запись прокрутить задом наперед. Но, кроме шуток, технология склеивания лексем в фразы — почти идентична. Минимум собственно морфологических указателей — плюс возможность практически любого слова работать какой угодно частью речи. В зависимости от расположения и группировки словарная единица интерпретируется очень по-разному. Тяготение к коротким словам усиливает эффект.

* * *

У кого лучше учиться: у русского преподавателя — или у носителя языка? Великий лингвист Щерба по этому поводу высказывался вполне определенно: носители говорят кто во что горазд — а студенту надо преподавать нормализованное произношение. Оставляя пока в стороне собственные «нормализации» Льва Владимировича (по поводу которых иногда тянет выражаться уж очень идиоматически), нельзя не согласиться, что рациональное зерно в этом есть: не отвлекаться на частности, а постигать общие принципы, основу, на которую потом легко лягут любые вариации. Однако я бы пошел еще дальше: совершенно без разницы, на базе какого говора мы занимаемся поисков глобальных идей, — они равно присутствуют в любом из них. Умение преподавать язык — вовсе не то же самое, что умение говорить и знание теории. Надо стать выше самого себя, с самого начала не дать студенту скатиться в тупое подражание,

заставить его понять, почему одно произносится (пишется) так — а другое иначе. Чтобы он мог произнести свое и по-своему, обогатив тем самым культурную палитру живой речи. Хороший преподаватель скажет: не делай, как я, — делай, как надо! Это вполне подобно тому, как обучение танцам требует изучения собственного тела (и духа) и внимания к телу (и духу) партнера — и только подчинение движения этой первичной логике дает собственно танец, а не только физические упражнения под музыку.

* * *

Un œuvre, on l'ouvre.

* * *

Язык историчен. Он возникает не сразу — и никогда не возникает до конца. Собственно язык — итог цивилизации, следствие растаскивания мира на противопоставленные друг другу нации. До этого — были народности, со своими говорами и наречиями… Еще раньше, в седой древности, — нечто такое, для чего у нас нет названия.

Юмор во времена Рабле и сейчас — две большие разницы. Любовь в античности и современная любовь — не одно и то же. Первобытный обмен продуктами деятельности — не похож на капиталистический рынок. От безвыходности мы используем представления сегодняшнего дня. Но не надо забывать: это всего лишь метафоры.

* * *

Французское *échafaud* означает строительные леса — и подмостки вообще, временное сооружение для публичных представлений. Кое-где оно употребляется в смысле театральной сцены. Вероятно, для кого-то сцена действительно становится эшафотом…

* * *

В начале слова перед согласной русское *и* предпочитает твердое произношение — в отличие от других гласных, которые могут запросто превращаться в мягкие («йотироваться»). В парах вроде *аки* и *яки* мы различаем лексику на слух. Начало слога, по сути, мало отличается от начальной позиции в слове: в потоке речи слова все равно сливаются. Но здесь у гласной *и* не никаких предпочтений, и возможны как твердые, так и йотированные варианты: *аист, прииск* — но: *воробьи, канальи* (можно было бы написать: *воробйи*; с канальями такой номер уже не пройдет). На практике йотированное *и* появляется после морфем, оканчивающихся на мягкую согласную, а мягкость — нечто вроде сплава согласной с последующим *й*, и специальная буква для ее обозначения — в общем-то, излишество: написание вроде *тенй, ролй* — точно передает суть дела. Перетекание *й* от предыдущего звука к последующему сродни ионной связи в химии, когда валентный электрон перепрыгивает из одного атома в другой — а потом работает обычное кулоновское притяжение.

* * *

Есть языки, в которых отсутствуют части речи, и любая речевая единица может изобразить из себя все что угодно. Ничего зазорного в такой фривольности, конечно, нет; в конце концов, ибо всяк волен рассуждать о серьезных вещах несерьезно, и наоборот. Но в русском языке части речи однозначно присутствуют, и неуважение к этой традиции в приличном обществе не приветствуется. Другое дело, что приличное общество в эпоху вновь победившего капитализма становится реликтом прошлого и о существовании каких-либо приличий теперь упоминать не

принято. В текстах любой официальности процветает то, что раньше назвали бы вопиющей безграмотностью. Торговки на базаре, деятели искусства, дипломаты, журналисты, политики — и даже ученые лингвисты! — все дружно взялись за пересоздание русского (наравне с другими) языка в направлении ничем не мотивированной неряшливости. А кажется им порой, что их неоговоризмы как раз и есть подлинная грамотность, возврат к истокам…

Но мы о различиях. В метро и троллейбусах граждан назойливо (аж уши болят) призывают быть вежливыми и уступать места беременным инвалидам с детьми. Именно так: будьте вежливыми! Организаторам этой псевдокультурности невдомек, что бывает вежливость — и вежливость. Если кто-то в данный момент в данном месте проявляет транспортное широкодушие (в Европе такое поведение называют урбанизмом) — он *вежлив*; *вежливый* человек — проявляет то же самое везде и всегда, и не только на транспорте; он так воспитан. Как бы ни судила высокая наука, «вежлив» — совсем не то же самое что «вежливый»: это разные части речи. Когда нас призывают: будьте вежливы! — имеется в виду: здесь не принято хамить, потерпите до дому. Если же от нас требуют быть вежливыми — тут уже вопрос о формировании личности, что в компетенцию путей сообщения никак не вписывается. Со стороны транспортного начальства было бы куда вежливее вообще убрать из подведомственных им колесных и прочих средств лишний шум, не нападать на пассажиров с дурацкими призывами, идиотской рекламой и ненужными объявлениями. Поменьше агрессии — и тогда, глядишь, станет больше вежливых.

* * *

Когда нечего сказать — всякий язык плох. Когда хоть что-нибудь есть за душой — любой язык сгодится.

* * *

Нигде, пожалуй, загадочность русской души не проявляется так полно, как в области морфологии… Неправильности Европы — отдыхают; арабский язык по сравнению с русским — просто верх гармонии. Кое-где, говорят, морфологии практически нет — такое не для нас.

Для примера — начнем производить от деятельности имя деятеля: *писать — писатель, строить — строитель, любить — любитель, жить — житель, з*(*ы*)*рить — зритель*… Но вдруг: *пилить — пильщик, курить — курильщик*, и так далее. В последнем случае можно утешиться параллельным существованием «стандартного» варианта: *куритель благовоний*; однако «исключения» множатся, и благостного настроения уже не жди: *летать — летчик* (или даже *летун*); *зубрить — зубрила*; *знать — знаток*; *кусать — кусака*; *затеять — затейник*; *творить — творец*… А, ведь, можно еще и от имен производить имена: *сбор — сборщик, конюшня — конюший, гусли — гусляр*… Импортные нам тоже сгодятся: *музыка — музыкант, танк — танкист, банк — банкир, лоция — лоцман, мафия — мафиозо*… Некоторые формы продуктивнее других — но, в принципе, любая может прилепиться к любой основе. Выбор зависит от контекста — и оттенки различны: *джазист* — и *джазмен, делец* — и *деляга*… Разумеется, перечень не исчерпывающий — но здесь важен сам факт неуемного разнообразия.

Таков русский менталитет. Дух народа, который прорастал сквозь следы переселенческих орд, на вытоптанной и выжженной земле, — народа, который всегда был прослойкой и барьером, чем-то между, — и выжить смог лишь потому что ни одна из сторон не воспринимала его всерьез. Мы привыкли быть перекрестком цивилизаций — и нет у нас душевной склонности ни к одной. Но тянет сразу во все стороны. Вот и гребем под себя — и свое, и дядино. А в итоге — ни себе, ни людям.

* * *

Сами по себе слова ничего не означают. Значение они приобретают в контексте сколько-нибудь значительной деятельности.

* * *

Иерархичность — умение говорить о главном. Не обязательно с главного начинать; можно вообще до него так и не дойти. Но говорить именно о нем — о том, что на вершине. Иначе вместо речи — каша-размазня…

* * *

В уставе ясно сказано:

> В условиях плохой видимости, когда с расстояния, указанного в табеле постам, нельзя опознать приближающихся к посту или к запретной границе поста, часовой останавливает всех лиц окриком “Стой, кто идет?”.
>
> *Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации*

То есть, совершенно неважно, идет кто-то на самом деле, едет, ползет, летит — или просто дрейфует по течению… Важен лишь факт сближения в системе отсчета часового.

Точно так же, потерпевший именуется таковым независимо от того, терпел он на самом деле или нет. Более того если он таки терпит — это не потерпевший, а лишь претерпевающий.

Здесь корни всякой вообще определенности — и большой науки.

* * *

В Индии изобретение искусственных языков — древнейшая традиция. Есть и более свежие (задокументированные) примеры: например, школа пения в рагах, когда абстрактные звуки передают собственно музыкальные интонации, а не что-то из жизни. То есть, конечно, к жизни это имеет отношение, — но не больше, чем звук скрипки или кастаньет. Таков и санскрит: канонизированная условность, реликтовая абстракция.

* * *

Следуя логике компаративистов, надо было бы допустить, что лошади и ослы произошли от мулов, а розы и трехцветные фиалки (анютины глазки) — от голубых роз фирмы Suntory.

* * *

Что-то проще сказать на одном языке, что-то на другом… Вот и надо выбирать для каждого дела — свой язык. Свободно, естественно переходить от одного к другому. Не замыкаться в рамках чего-то одного. Такая свобода и есть единый, всеобщий язык — воплощение языка вообще. Нам бы еще свободных дел!

* * *

Грамматика возникает из идиом.

* * *

Идиоматика для идиотиков… Когда компьютерный словарь предлагает мне вариант «возлюбив» вместо «возлюбя» — я с ним решительно не согласен. У слов есть разные состояния; они иногда не различаются грамматически — но совсем не совпадают по смыслу. Форма «возлюбив» предполагает однократность и законченность; она целиком в прошлом. Форма «возлюбя» — наоборот, вся в будущем, она предполагает жизнь сейчас. Отбросьте приставку — и это сразу станет заметно.

* * *

Поскольку в китайском языке изобилие омофонов, речевые клише (чэнъю) становятся особенно значимыми: благодаря им удается точнее структурировать речь, избегая неясностей. Точно так же, китайские фамилии не несут практически никакой информации (они одинаковы у многих миллионов); они указывают на конкретное лицо только в сочетании с личным именем.

* * *

Семитское (и турецкое) «адам» (единичный человек) удивительно созвучно греческому «атом», с тем же значением (латинская калька: «индивид»). Вот так и рождаются ностратические грезы…

* * *

То, что в одном языке есть речевое клише, в другом — вовсе не обязательно связано с какой-то устойчивой фразеологией. Ситуации, сходные для носителя исходного языка, оказываются семантически различными в языке-цели. Поэтому перевод речевых клише может потребовать разбиения их на составные элементы и переосмысления; в каких-то случаях правильнее отказаться от идиоматики.

* * *

Единый язык — если он станет когда-либо возможен, — не подобие ныне существующих языков: это будет целостность более высокого уровня, включающее все лингвистически сущее как возможность. Не единичный язык, а иерархия языков (включая искусственные), которую можно по-разному развертывать в индивидуальной практике.

Люди, проживающие на границе двух стран (или при смешении культур) поневоле учатся понимать разные наречия; у них возникает особый язык — смесь разнородных элементов из разных источников. Кто-то назовет это диалектом (или испорченным языком, «суржиком»). Но чем такая речь хуже любого другого языка? С точки зрения носителей диалекта — носители «нормализованного» языка говорят неправильно. И это иногда влияет на отношение к ним. Помню как в Одессе местные меня учили говорить [адеса] — чтобы не смотрели искоса…

Помимо территориального соседства и переселения народов — есть еще соседство социокультурное: на стыке относительно обособленных сфер общественного производства (и в контактах соответствующих общественных групп) возникают новые наречия, надстройка над исходными языковыми образованиями. Жаргон — деградация языка, но только через разрушение прежней нормативности возможно развитие.

Единый язык возникает, когда люди становятся достаточно универсальными, когда они должны ориентироваться и действовать в совершенно разных языковых условиях. Уродливый общественно-экономический строй всячески стремится воздвигнуть побольше барьеров — это препятствует развитию языкового единства. Но на людях свет клином не сошелся. Уже сейчас общение машин между собой влияет на человеческую речь — и примеров такой интеграции станет больше. Постепенно меняются роли, и когда-нибудь людям придется учитывать интересы других форм разума. Известные в наши дни специализированные («машинные») искусственные языки (протоколы) наравне со старыми и новыми бытовыми языками уже участвуют в выработке структур единого языка будущего. Конечно, если будущее будет.

* * *

Курьезы семантики: «добро» — это хорошо, «порядочность» — замечательно, но если соединить одно с другим, получается «добропорядочность», синоним мерзкой пошлости…

* * *

Персидские слова حافظ и خافظ различаются всего лишь одной точкой. Вот так и в жизни от великого знатока и хранителя традиций — рукой подать до высокомерного сноба, гонителя и тирана…

* * *

Искусство и наука создают новые языки — но оказывается, что на них некому говорить, и не о чем. Мертворожденные.

* * *

Неточности перевода иногда способны не только исказить суть дела — но и сами дела погубить. Когда описка *zenith* копируется сотнями переписчиков и становится единственно правильным термином (в том числе для носителей языка-оригинала), это безобидно. Но когда в терминологии аргентинского танго испанское *abrazo* (или английское *embrace*) переводят как «объятие» — это коренным образом меняет подход к танцу, подставляет на место искусства пошлый эротизм. Исходно — речь идет лишь о том, чтобы взять нечто в две руки; первичное значение: «охват», и в переносном смысле — количество охваченного: «объем», «вместимость». Только в каком-то особом контексте это обозначает любовный жест. Правильный перевод: *объем*. Слово однокоренное, но куда более емкое. Объем в паре — это количество пространства, которое она занимает; объем может быть тесным или широким, он дышит в танце… То, что представляют себе россияне, соответствует, скорее, испанскому *abrazamiento*. Но поколения, воспитанные на ложной интерпретации, воспринимают танго чисто биологически, как сексуальное приключение, и уже не остается возможности проявить собственно человеческую духовность.

* * *

Русскому режет слух типичное обращение разного рода «восточных людей»: уважаемый… А для их языков — это обычное речевое клише, которое никто не воспринимает буквально.

* * *

«Еще чего-нибудь» — это не ошибка, не безграмотность. Наоборот, спесь грамматиста, предлагающего вместо этого нормативное «еще что-нибудь», выдает недостаточное знакомство с русским языком. Формальный родительный падеж здесь — форма множественного числа, неопределенного количества. В полном соответствии, например, с французским *de*/*des*. Есть единственное число (*ботинок, каша*), есть множественное число (*ботинки, каши*), есть двойственное число (*пара ботинок, пара каш*), есть неопределенное множественное (*навалили тут ботинок, наварим каш*), и есть массовое множественное (*многовато ботинка, съесть бы каши*).

Мы говорим: *знать русский язык* — но: *не знать русского языка*. Это разные фирмы числа, а не просто идиоматика глагольного управления. По-видимому, родительный падеж исходно означает именно принадлежность к роду, причастность — и, следовательно, частичность. В этом же смысле употребляется он и в других языках (например, в арабском).

* * *

Лингвистический франкенштейн: официальный украинский язык. Мешанина чужих органов — злобно-агрессивное чудище, убийца истинной (в том числе украинской) культуры.

* * *

Для европейца арабская морфология остается экзотикой — не говоря уже о разного рода инфлективных языках. Но языкознание ограничивается констатацией факта — и ничего не говорит о том, почему у одних народов вырабатывается морфемная грамматика, а у других — нечто другое. А это и сделало бы лингвистику наукой, а не только кунсткамерой.

* * *

У всех свои обстоятельства. Но, помимо обстоятельств, в предложении есть также подлежащее, сказуемое, прямое и косвенное дополнения, со всевозможными эпитетами. Таким образом, на долю обстоятельств приходится не так уж много… И надо честно делать свою работу, несмотря ни на что.

* * *

Нет четкой грани между грамматикой и морфологией.

Образование разного рода отглагольных форм в арабском языке производит жутковатое впечатление на неопытных. Картина наипестрейшая. То же о множественном числе.

Но, если подумать, в русском языке оно ничем не лучше: *дать — данник, врать — врун, лгать — лжец, гнать — гонитель, срать — засранец…*

В каком-то очень общем смысле, единообразие есть, и все можно объяснить… Но достаточно ли, чтобы считать историческую случайность морфологическим законом?

Быть может, такую морфологию было бы правильней отнести к области идиоматики?

* * *

В русском языке огромный выбор соков: *носок, кусок, часок, мысок, поясок, брусок* — и даже (для любителей изысков) *наискосок…*

* * *

Кто-то, возможно, еще помнит старый советский анекдот:

На пустынной улице Лондона встречаются двое:
— How many watches?
— Six watches.
— Such much?!
— Whom how.
— Коллега, Вы тоже МГИМО кончали?

Шутки-шутками, но в моей биографии нечто подобное случилось на полном серьезе.

В общежитии душевая в полуподвале. Как-то днем решил пойти, помыться, — пока народ не набежал. В дверях душевой сталкиваюсь с негром, который пытается говорить по-русски, — а у меня мозги не в самом светлом состоянии:

— Сколько часов?
— Трое.
— Столько много?!
— Каково кому…

И ничего. Все друг друга понимают…

* * *

Слово *шаман* легко интерпретировать как искаженное английское *showman*.

* * *

Где начало того конца, которым оканчивается начало? Очевидно, там же, где конец того начала, которым начинается конец.

* * *

Развитие языка полностью определяется внеязыковыми факторами, это копия истории.

Например, идиомы «поймать на горячем» или «взять тепленьким» исторически не могут возникнуть до активного овладения огнем, когда горячие производства вошли в повседневный быт. Прежде чем что-то сказать — надо уметь сделать. А потом удивляться тому, что получилось, и верстать метафоры. В язык встроена его история — однако пошлая компаративистика запрещает серьезно ее изучать.

Почему французское *baiser* как глагол стало неприличным, а как существительное оно сохранилось в старом значении? Почему в других языках (например, в испанском) этого не произошло? Это факт совсем недавнего прошлого — а объяснения нет.

Изучение истории языка есть изучение истории народов. И наоборот. Влияния, миграции, подчинение… Все отражается в языке. Но пока все пытаются свести к формам абстрактной идеи, науки не будет.

* * *

Если римляне записывали греческие буквы φ и θ как *ph* и *th*, — значит, в древности они это слышали именно так, и можно использовать такие детали для восстановления звучания мертвых языков. С другой стороны, греческая δ (которая в новогреческом языке представляет собой лишь озвонченное θ) почему-то не превратилась в латинское *dh* — и этому есть свое объяснение. Грузия, выходит, ближе к Риму, чем к Багдаду…

* * *

Закон номер раз: согласные в языке разделяются гласными. Если вы замечаете стяжение согласных — значит, вы чего-то не заметили. Например, то, что на письме отображается несколькими знаками, представляет собой единый комплекс, в произношении неразложимый на составные элементы: [стр] в слове *струна* (а также в производных от него); аналогичные примеры — практически во всех языках. Другой вариант: между согласными в реальном произношении вклинивается редуцированная гласная, которая просто не отображается на письме: *служба* на самом деле *служъба*, а *подхалим* можно записать как *подъхалим*. В мягком варианте эта вставная гласная явно присутствует: *судьба* — а в каких-то формах редукция вообще снимается: *судебный*, *служебный*.

Следствие закона номер раз: слог не может начинаться с гласной. Однако в качестве согласной часто выступают придыхания и приступы, которые на письме представлены знаком пробела, дефисом или знаками препинания (что всегда предполагает предшествующий и последующий пробел — в духе французской орфографии).

* * *

Тоны в китайском языке не совсем случайны, они семантически наполнены. Это как бы продолжение жеста, который всегда сопровождал первобытную речь. Первый тон — для того, что «разлито», или находится вне говорящего, охватывает его. Второй тон — для движения изнутри наружу, чего-то взрывного, яркого. Третий — внутри себя: ставшее, устойчивое. Четвертый — противоположность второму: движение внутрь, или просто к цели, обращенность к финалу, конечному состоянию (ср. 回来 и 去来 — возвращаться к нам или от нас).

* * *

В английском языке *sleep* и *dream* — очень разные вещи. По-русски это одинаково: *спать*. Что снится: *сновидение*, *греза*. Английское *dream* активно: мы сами навеваем себе сны (например: *dream a little dream of me*). Русский язык пассивен: нам что-то снится, и мы лишь видим сны, которые приходят сами собой. Конечно, мы умеем еще и *грезить* (в том числе наяву). Но это глагол-состояние, подверженность грезам. Чуть появилось намерение — это у же совсем другое: *мечта*. Тут до действия два шага. Английские мечты — картинка, а дела в другом мире.

С одной стороны, русский язык полновеснее: он берет мир целиком, во всех его проявлениях. Другая сторона того же самого — неумение добиваться, долбить в одну точку, уход в собственные фантазии, рассеянность — и лень.

* * *

У русских тепло и холод — очень разные вещи. А у персов они различаются одной буквой… К чему бы это?

* * *

Провести грань между искажением языка, диалектизмом, говором и новым языком почти невозможно. Идиш возникает как регулярное (лингвистически узаконенное) искажение немецкого языка. Точно так же украинско-еврейский (разновидность суржика) вполне мог бы претендовать на равноправие с русским — поскольку произношение и грамматика остаются относительно стабильными. Как в известной песне: «Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад»…

* * *

На Руси старинные традиции демократии. Об этом свидетельствуют древние термины для голосующих: «заяц» — тот, кто за; «противень» — тот, кто против.

* * *

Если мы из русского языка исключим все неполиткорректные слова — люди вообще не смогут разговаривать. Может быть, это и к лучшему: в тишине кто-то, возможно, о чем-то задумается…

* * *

Люди не всегда говорят как пишут, или пишут как говорят. Две взаимно дополнительные стороны языка. Поэтому проект МФА изначально обречен на провал.

Алфавит, конечно же, связан с языком — но не абстрактно: скорее, это творческое содружество. Одно влияет на другое. Передача текста и его порождение. Кодировка и смысл. Глупо изучать всего лишь последовательности знаков, раскручивать теорию стохастических процессов, вычислять вероятности переходов… Несложно усмотреть в (письменном или устном) тексте корреляции, ближний и дальний порядок, — как-то соотнести это с нормативностью и стилистикой. Но текст — всего лишь текст. Кодировать его можно как угодно. В том числе ненормативно. О том, что стоит за текстом никакая математика не говорит. Равно как и о тонкостях звукописи, игре слов… Наконец, есть еще и восприятие текста — а оно различно в разные эпохи, у разных социальных слоев. Может оказаться, «Начала» Евклида — пародия или дружеский розыгрыш, «Дао-де Цзин» — отголоски посиделок кабацкой голытьбы, а таблицы Хаммурапи — всего лишь сборник допотопных анекдотов.

* * *

В русском языке есть весьма влиятельный персонаж по имени Най. Он очень богат: *земля Ная*, *лес Ная*, *посев Ная*, *завод Ная*, *сталь Ная*… Даже *шаль Ная*. Велик *труд Ная*, страшен *гнев Ная*. Но *друг Ая — боль Ная*.

* * *

Не «реконструировать», а указывать реальные механизмы взаимодействия языков: взаимовлияние, заимствования, — и обособление, размежевание… Из моря этих виртуальных процессов и складывается лингвистическая история, в которой нет совершенства — но нет и начальников. В квантовой физике одни частицы не элементарнее других — они просто живут все вместе, умирают вместе и вместе производят на свет что-то новенькое.

* * *

«Энеида» Котляревского начиналась как жанровая зарисовка, легкая бурсацкая пародия на типичную для «столичного» Киева смесь русского языка с еврейским говорком и окраинными диалектами. Но когда шутки очень много — это уже не смешно. Возник новый язык, под который тут же подвели теоретические основания местные националисты. Через сто лет благонамеренные советские языкотворцы наплодили массу нерусской лексики. Еще через сто лет усилиями антироссийских политиков украинский язык окончательно оторван от своих корней и превращен в инструмент «люстрации».

* * *

По-французски, слово *bûche* вызывает мысли о рождественских вечерах… Русское полено в основном существует в своем деревянном значении — хотя чаще в виде полешек. Торт «полено» у русских тоже есть — но он никак не связан с календарем, а круги и квадраты в народе популярнее.

* * *

Еще о загадочности русской морфологии. Удилище — то, чем удят. Судилище — то, где судят. Страшилище — то, чего пугаются. Кострище — остатки костра либо большой костер. Влагалище — куда вкладывают.

* * *

Во многих языках один и тот же глагол (где они вообще существуют) может употребляться и переходным, и непереходным образом. Чаще всего непереходное значение как-то вытекает из переходного — но в итоге означает нечто совсем иное, из другой сферы бытия.

Одно дело квасить капусту, или расквасить физиономию, — или даже кваситься, — а другое дело просто квасить… Не вообще, а чисто конкретно. Хотя и не всегда по конкретному поводу.

* * *

Внутренняя — прежде всего речь. И поэтому она адресована другому, и живет не ради себя, и не внутри себя. Однако ориентирована внутренняя речь не на понимание — а на сопереживание, содействие, или хотя бы просто сопоставление. Воспроизводство субъекта.

* * *

Когда о языке пишет хороший лингвист (или о физике физик), ему трудно отрешиться от профессии, и осмыслить он пытается все внутри предметной области. Но суть-то как раз в том, что осмысленность языку придает именно выходящее за его рамки.

Ничуть не лучше и обратный вариант: не очень грамотный философ пытается судить о языке исключительно в философском плане, без учета специфики предмета. Возможно, он будет прав — но по другому поводу.

* * *

Европейская привычка перечислять гласные в древнефиникийском порядке (aeiou) проникла в самые разные уголки культуры. Японцы упорядочивают гласные иначе: aiueo. Поэтому они и думают по-другому.

Арабский алфавит ставит алиф в самое начало (сказывается древнее родство) — а буквы для *u*, *i* запихивает в конец; однако языковая логика опирается на порядок [u] (как пустая, нейтральная позиция), потом [i], потом [a]. Китайские представления о порядке вещей тоже начинаются с [a] — но дальше сплошная экзотика…

* * *

Почему: *латать — залатать — залатывать*, но: *глотать — заглотить — заглатывать*? Потому что процесс отличается от единичного акта, это разные уровни иерархии…

* * *

Изучение иностранных языков полезно хотя бы для того, чтобы не уродовать мышление неточностями перевода. Невозможно читать немецкую классическую философию, не обращаясь к оригиналу. Переводные стихи следует воспринимать как явление другой литературы. Каждый язык годится для всего — но не все можно выразить на любом из них.

Взять хотя бы затасканную донельзя фразу: *знание — сила*. Величайшая идея сведена к пошлой сентенции.

В оригинале: *Knowledge itself is power*. Всякому, кто хоть немного знает по-английски, ясно, что *power* — это вовсе не то же самое, что русское *сила*. По-русски — выпячивание количественной стороны, тогда как *power* — определенное качество, способность воздействия или влияния. Но такого слова у нас в распоряжении нет, и потому тысяча переводов: *мощь, мощность, энергия, власть, могущество, влиятельность*… Суть афоризма в том, что, с одной стороны, знание уже предполагает мощь разума как способность познания, а с другой, знать нечто — это уже отчасти повлиять на него, ибо познанное теперь не само по себе, оно преобразовано в предмет познания, в объект. Мы никак не влияем физически на эволюцию далеких галактик — но если мы включили их в свою картину мира, они уже стали орудиями для преобразования Вселенной.

* * *

Логлан — неимоверная глупость! Это не язык вообще. Может кто-нибудь сказать на логлане что-то вроде «Ерш твою медь!» — с той же интонацией и теми же аллюзиями?

Кто утверждает, что язык лишь способ передачи информации, — ничего не смыслит в лингвистике. А также в элементарной логике. Потому что для передачи информации используются линии передачи и кодовые системы — а вовсе не язык. Не надо подменять одно другим. Главное в языке — интонации. Это как раз то, ради чего мы общаемся. Что означают по словарю употребляемые слова (и означают ли они что-либо вообще) — к делу никаким боком не

относится. Мы всегда можем (и вправе) переопределить любое слово, произнеся его с нужной интонацией в соответствующем контексте.

В компьютерных сетях роль языка играют не протоколы, а способы их реализации, технологии представления протокольных абстракций в железе и методы управления этим хозяйством (включая разруливание конфликтов). Язык ассемблера — это не последовательность управляющих кодов (в какой угодно мнемонике), а способ интерпретации таких последовательностей многопроцессорными комплексами, схемотехническое решение, при котором несколько устройств сообща решают общую задачу, движутся к единой цели. Без такого «железного» (или «мокрого» — *wetware*) воплощения невозможен даже пустой треп.

* * *

Абстрактное терминотворчество: «антагонимы» — слова, не антонимичные, но обычно противопоставляемые… Проистекают такие «разграничения» из банальной путаницы: на самом деле, достаточно говорить об антонимах — но понятие антонимии иерархично, не сводится к словарям и абстрактным дефинициям. Антонимия (как и синонимия) зависит от контекста: то, что противоположно в одном — рядоположено в другом. В каких-то контекстах противопоставлений нет вообще: там другие схемы осмысленного бытия…

* * *

Наука — занятие замечательное. Распухает от сознания собственной полезности. И превращается в свою противоположность — академическую науку.

Chomsky [*НЗЛ* XXV, с. 262]:

> …каждый язык будет содержать термы, обозначающие людей, или лексические единицы, относящиеся к конкретным видам объектов, чувств, поступков и т. п.

Язык C++ не содержит термов, обозначающих людей.

Язык Fortran ничего не говорит о чувствах и поступках.

Вы скажете, что искусственные языки ограничены контекстом определенной деятельности? Но ведь и естественный язык живет не в вакууме, а в контексте культуры. Если ты работаешь органистом в церкви, так будь добр по крайней мере в рабочее время играть благочестивый репертуар. Если ты взялся расписывать храм — так изволь живописать на религиозные темы. То есть, присутствие тех или иных «термов» вообще никак не связано с языком — но только с условиями его возникновения и бытования.

* * *

Как бы то ни было, влияние письменности на речь трудно переоценить. Как минимум, появляется новое, «нормализованное» произношение (даже там, где фонетика не отображается на письме). Питерский диалект русского языка — как порождение языкового невежества понаехавших на царские харчи иностранцев. В персидском языке под влиянием арабской письменности меняется даже самоназвание народа.

Обратный процесс: изменение правил чтения. Разительные перемены в английском языке, переозвучивание тех же знаков в японском… Французы (а потом и немцы) подгоняют написание под речевые нормы. Греки отказываются от вымершей просодии на письме. И новый цикл: унификация чтения под воздействием письменных норм.

Письмо инертнее; но неписаный закон может быть крепче писаного. Изменение кодировки не бывает без потерь (и не всегда желанных приобретений). Сказанное записывают по-разному. А в современном языке нормативная орфография давно уже превратилась в фикцию. Однако перетекания письма в речь и обратно будет всегда, на любой материальной базе. Даже когда компьютеры вживят в мозг, и мы будет изъясняться навороченными образами.

* * *

Абляут в немецком языке сродни графическим дифтонгам в греческом и латыни. Альтернативная запись это подчеркивает: *ä* → *ae*, *ö* → *oe*, и т. д.

По всей видимости, исторически, греческое αι (равно как и латинские *ae, oe*) лишь указывает на смягчение предшествующей согласной, аналогично тому, как в русском языке различаются твердые и мягкие слоги. Способ записи не обязательно передает фонетику.

* * *

Литературный и разговорный языки — vulgo. Реально есть один язык, но развертывается он по-разному в разных ситуациях. Нельзя поэтому «изучать» только разговорный язык, либо только книжный. Знать язык = уметь развернуть любую из его структур. Разумеется, одному человеку такое не под силу, и никто не может овладеть языком «в совершенстве», «до конца». Ибо любая иерархия бесконечна. Но есть некоторый «дух языка», усвоив который, можно быстро сориентироваться в любой ситуации. А для поиска этого духа годится любой путь: книги, живой разговор, переписка — даже лингвистические фантазии!

NB: в ряде случаев исторически возможно реальное разделение языка на несколько вариантов (греческий, японский, арабский). Играет культурно-экономическая организация общества, предполагающая действительное обособление отдельных социальных слоев, пластов культуры.

Все когда-либо существовавшие языки можно рассматривать как обращения одной вербально-коммуникативной иерархии — поскольку общие принципы человеческого мышления инвариантны по отношению к языку (но не к языковой среде!). Гораздо легче представить себе единый общечеловеческий язык, чем один язык для человека и машины, для человека и инопланетянина. Хотя, в конечном итоге, и здесь есть точки соприкосновения, в силу материального единства мира. Отсюда иерархичность переводимости с одного языка на другой, зависимость уровня перевода от глубины взаимопроникновения культур.

* * *

Во французском языке (по крайней мере, в сохранившейся местами европейской традиции) звучание *o* отличается от звучания *au*. Русскому все едино. Для изучения истории языка — различать таки придется. Например, если быстро произносить последовательность [au] — получится нечто вроде [o]. Точно так же, произношение французского *gn* можно понять, если учесть, что французские [k] и [g] произносятся смягченно (почти как китайское *g*), а [g] перед [n] практически не звучит: оно лишь придает носовой оттенок — в мягком, альвеолярном варианте. В учебниках поясняют: «что-то вроде *ннь*» — и это верно схватывает впечатление удлинения мягкости. Вспомнить аналогичные примеры из турецкого или арабского — каждый может.

Сюда же примыкает практика чтения латинских *c* и *g* по-разному перед твердыми и мягкими гласными в европейских языках: это указывает на исконно мягкое произношение в сочетаниях *-ce-* или *-gi-*. Восприятие такого произношения варварами привело к трансформации.

По всей видимости, стремительная по историческим меркам трансформация английского произношения также связана с изменением классовой структуры общества — и вызванной этим языковой перестройки по нормам экономически господствующих слоев. Исходить можно их тех же принципов естественной трансформации в беглом произношении — когда различие открытого и закрытого чтения связано с реликтовыми особенностями, редуцированными в позднейшие времена.

* * *

Может быть «пятка» — это сокращение от «пятая точка»? А если душа в пятки?

* * *

Греческий язык — как мини-арабский: кое-где кое-что образуется регулярной заменой гласных. Возможно, греки позаимствовали это от протосемитов (например, из Междуречья). Хотя куда вероятнее, что тут одно из проявлений общего принципа, а вовсе не родство.

* * *

Когда нужно что-то уяснить для себя, не надо развернутых текстов. Внутренняя речь — только намек на действие, понятный только говорящему — и его воображаемому собеседнику.

* * *

В конце концов, слово «дифтерия» (в народе: «дифтерит») мы можем запросто перевести как «двукрылость»! Не все так плохо…

* * *

Взрослым так трудно избавиться от ошибок при изучении иностранного языка. Это связано с тем, что для них формальные аспекты уже не имеют особого значения — это всего лишь речевой автоматизм, над которым нет смысла долго задумываться. Содержание редко зависит от грамматики — интонация гораздо важнее.

* * *

Как и в квантовой механике, лингвистические операторы некоммутативны: «мучительные сомнения» — это совсем не то, что «сомнительные мучения».

* * *

Переводы Пиаже на русский язык (и, видимо, на другие) сделаны совершенно по-уродски. Они превращают простые и очевидные вещи в нечто заумное и противоестественное. Достаточно точно перевести французское «symbole» как «представление» — и становится понятно, что способность представлять одно другим предшествует собственно знаковой деятельности (условному обозначению). Знак в этом смысле лишь «абстрактное представление», «symbole conventionnel».

Точно так же, вместе «образов» у Пиаже следует говорить именно о «представлениях» (в отличие от ощущений и восприятий), и тогда происхождение из деятельности («имитации») становится очевидным.

Уродский термин «символическая функция» следовало бы передать как «способность представления» — и все становится намного понятнее.

Понятно, что первоначально все внутреннее было внешним — точно так же представления сначала появляются как внешние («имитация»).

Вместо «генетическая психология» следовало бы писать «психология развития» (или «становления»). Тогда отпадает ассоциация с генетикой и мысли о врожденности каких-либо способностей.

Языковая путаница приводит к критике того, чего у Пиаже никогда не было. А было только одно (хотя и очень серьезное) упущение: нет понимания важности совместной деятельности для формирования представлений (и далее всего остального). Но это общая беда буржуазных мыслителей: Маркса они не читали, а что и читали — так не поняли.

Пиаже, конечно, сам хорош: его манера выражения далека от кристальной прозрачности. Однако и тут он всего лишь человек — а точно выражаться люди, как правило, не умеют.

Заигрывания с формальной математикой — всего лишь дань моде, тогдашнему увлечению алгеброй в надежде отыскать единую основу всего. Псевдоученые термины: «матрица», «решетка», «группа» и т. д. — глупо и смешно. Почти никто из взрослых не рассматривает логику как группу или иную алгебраическую структуру. Взрослые употребляют логические операции по наитию. Отличие от детей — больше универсальности: не только житейски, но абстрактно, общими категориями, в разговорах «за жизнь».

* * *

Когда что-то нужно прямо сейчас, все нормальные люди идут и делают: je vais le faire, I am going to, 去做… А русские: я собираюсь… Все время собираются — и никак собраться не могут.

* * *

Речь как резонанс: на внутренний голос отзываются голосовые органы. Здесь истоки оговорок: артикуляционные стереотипы не соответствуют речевому намерению, а поскольку приказ на исполнение уже дан, исправить что-то на ходу нельзя. Скороговорки заставляют обращать внимание на артикуляцию и переделывать ее. Развертывание операции в действие.

* * *

Традиционное деление: лексика, морфология и синтаксис… Основа всему (прямо как в библии) — *слова*; потом либо их внутреннее изменение (морфология) — либо внешнее сочетание (синтаксис).

Однако возможен и другой подход: разбиение речевого потока на слова — вторично по отношению к синтагматическому и фразовому уровням. Именно лексическая ориентация затрудняет восприятие и порождение беглой речи на иностранном языке: нам предлагают сначала разбить поток на слова, поротом понять, что они означают все вместе… В результате — типичные ошибки разбиения, когда фраза трактуется самым неожиданным для коренного носителя языка образом, превращается в самые дикие словосочетания. Родственно: дети «перевирают» высказывания взрослых. Сознательно — игра слов (особенно в поэзии). Остроты и каламбуры. С накоплением языкового опыта человек учится выделять «правильные» словосочетания, отсеивать «ненормативные» комбинации. Но одновременно и мышление его становится более жестким, стандартизированным… Языковая культура превращается в мыслительный стереотип. Одна из причин благотворного влияния иностранных языков на мышление человека — расширение возможностей, овладение новыми формами, выход за рамки уже имеющихся схем. Но для этого относиться к языку надо иначе: не просто средство коммуникация (передачи информации) — а орудие труда, логика, повод поразмышлять о том, что ценно и интересно «само по себе».

Язык — копия культуры; каковы принятые в обществе способы деятельности, таковы и языковые конструкции. В частности особая (центральная) роль лексики — это выражение «научного» (аналитического) подхода к миру, «когнитивная» сторона языковой (речевой) деятельности. В других областях рефлексии выходят на первый план другие стороны языка. Например, в поэзии выбор слова подчинен выразительной интонации; те же слова по-разному окрашены в зависимости от построения целого. Дружеский треп вообще не придает значения словам: здесь речь лишь цементирует и обогащает контекст — и нам достаточно междометий, неопределенных или абстрактных звукосочетаний — а то и просто выразительного молчания. Философский трактат тоже выходит за рамки лексики — но иначе: слова как фрагменты категорий, их приближенные описания, имеющие смысл лишь в контексте иерархии идей.

Наука о языке могла бы начать не с лексики, а с фундаментальных принципов речеобразования и речевосприятия — механизмов порождения речевого потока, который в дальнейшем дробится на фразы, синтагмы, слова, слоги и т. д.

* * *

Ходить или *идти*? Казалось бы, в других языках тоже есть различия. Но если присмотреться пристальней… Как правило, на передний план выдвигается совсем другое противопоставление: *to go — to come, aller — venir, πηγαίνω* (*πάω*) — *έρχομαι,* 去 — 来. Все остальные глаголы — уточнение способа уходить или приходить, они очень специфичны (обобщенные коннотации возникают как метафоры). А вопрос в том, чтобы отличить движение от воспроизводства движения, природу от продукта деятельности. Русский язык до такого дошел. Остальные — вокруг да около.

Дальше начинаются чудеса словообразования. Приставки лепятся и к одному, и к другому: *уходить, приходить, заходить, всходить — уйти, прийти, зайти, взойти*. Но смысл уже другой! Вместо противоположности продукта и объекта— обычная завершенность (перфект, аорист).

Конечно, можно сослаться на какую-нибудь реконструкцию, усматривая в слове *ходить* не правильность и регулярность, а процесс становления: так сказать, недоделанное *идти*… Тогда производные формы естественное вписываются в грамматику вида (aspect). Сюда же лепится отождествление основ: *ходити* отличается от *идьти* только приставкой (с переносом ударения), или наоборот, превращением разных имен (которые на самом деле вовсе не разные, а только фонологические варианты: ср. украинское *ходити — іде — вхід*) в глаголы по общей схеме. Разумеется, это против официальной этимологии; но выведение из индоевропейского мифа ничем не научнее гипотезы о единстве логики языка.

Но если не расплываться по древностям, а смотреть факту в лицо, здесь у нас есть проблеск сознания — и можно думать, почему именно здесь и именно сейчас. Язык меняется. Обычно следуя за историческими сдвигами. Но может быть, какие-то внутриязыковые процессы подсказывают нам картинки из будущего, до которых мы пока не доросли?

* * *

С ума сойти от… Чего? Предлога или приставки. Перед звонкими согласными она произносится как [од]. В польском языке пишут: *od* (и *ad* для безударного варианта). Предположительно, исходно было не обычное [т], а какой-то другой звук: либо что-то вроде китайского непридыхательного *d* — либо все-таки [т], но более напряженное, взрывное, — аналогично арабскому ط. Потом (довольно рано) этот звук в русском языке утрачен.

* * *

Вульгарно-школьное представление сводит редукцию к простой замене одной гласной на другую: [о] → [а], [е] → [и] и т. д. Серьезные фонетисты отмечают качественное изменение звука (по-разному в разных позициях) и записывают его хитрыми крякозябрами. Для нас важно, что безударные гласные не просто видоизменяются, а еще и теряют качественную определенность, становятся более «расплывчатыми», похожими на все сразу. Поэтому записывать их знаками любой нормальной письменности можно по-разному, в зависимости от намерений автора. Либо вообще не записывать, оставить место для сотворчества слушателя. Дальнейшая редукция приводит к сращиванию гласной с окружающими согласными, ее перераспределению между ними. Иногда говорят о «выпадении» гласной — но ее следы остаются, и согласные могут при случае взять на себя функцию слогообразования.

* * *

Овладеть = изнасиловать.

Не хочу владеть языками. Приятнее с ними общаться. В идеале — чтобы им тоже было интересно со мной.

* * *

Еще об Одессе:

Вот вы спросите: ты имеешь счастье?
И я отвечу: шо бы да — так нет!

Русский редактор страстно борется против того, чтобы кто-то что-то имел. Полагается лишь фиксировать факт: у меня есть, — или: у меня нет… В каком смысле есть, и откуда оно взялось, — к делу, дескать, не относится.

С точки зрения украинской грамматики, *має* или *немає* — это обыкновенные связки, употребляемые столь же свободно, как английское *have* или французское *avoir*. На стыке языков можно задействовать конструкции из всех сразу. Да, это суржик — с точки зрения чьей-то чистопородности. Только, вот, чистота — дело темное: чаще всего за ней стоят классовые интересы.

* * *

Предполагают, что человек возникает вместе с языком. Умные слова о становлении и развитии… Задача: проследить, как язык меняется, становится другим.

Но что если поначалу языка вообще не было? Как не было в древности музыки и поэзии самих по себе — но только вперемешку со всем остальным.

Обособление, выделение в особый культурный слой — признак и продукт рефлексии. Язык как таковой возникает много позже умения разговаривать — с первыми языковедческими трактатами (поначалу — устные замечания; потом упоминания в письменных текстах). Когда закон противостоит обществу как внешняя сила.

* * *

Синонимы, антонимы — не существуют просто так. Сравнение возможно лишь в каком-то отношении. Количество не бывает без качества. То, что в одном отношении синонимично, в другом может оказаться антонимией. Как творческое начало (демиург), человек синонимичен богу; в плане преодоления догматизма — они противоположны.

* * *

Наука: вентиляторика.
Ремесло: скверное дело.

* * *

David Bellos, *Is that a fish in your ear?* (2011).

Идеологически мы с ним противоположны, однако в том, что касается принципов и техники перевода — готов подписаться под каждой фразой. Это настоящий профессионал: его заблуждения не менее плодотворны, чем его открытия.

* * *

Многие языки обходятся без пробелов — и слова у них друг от друга отделяются весьма условно, по грамматическим соображениям. Русскому человеку этого не понять. Потому что для нас пробел — душа интонации. Одно дело сказать, что результат *не важен* (безразличен) — и совсем другое сожалеть, что он *неважен* (дело дрянь). *Не друг* и *недруг* — очень разные статусы! *Раз рубить* и *разрубить* — семантически противоположны. Ясно видение далеко не у всех ясновидящих. Как в ядерной физике: слияние и распад порождают новое качество.

* * *

Обесценивание эмфатических конструкций во всех языках следует за эмоциональной инфляцией — которая, в свою очередь, во многом выражает снижение доли живого общения, переход к дистанционным и диахронным формам. По-видимому, это другая сторона умения различать больше деталей в деятельности — и больше интонаций в рефлексии. Мы можем понять грубый юмор площадных времен — но ценим тонкую игру смыслов, которая куда больше нас теперь занимает — и кажется значительнее. Смещение на нижние уровни культурной иерархии как раз и означает меньше значимости в быту — и легкое отношение к речам.

* * *

Выбор псевдонима — мера зрелости самосознания. Первое попавшееся на глаза — не лучшая рекомендация. Напротив, некто *Jones* становится таковым в силу трезвой самооценки и здравой самокритичности: например, американская идиома *keep up with the Joneses* означает быть как все, не лучше — но и не хуже. Точно так же, намерение называться апостольским именем *Paul* указывает как на вторичность без лишних претензий — так и на существенность личного вклада в общечеловеческую духовность…

* * *

Когда мы говорим о подобии языковых явлений (например, европейского абляута и китайских тонов), речь не идет об установлении однозначных соответствий и правил «перевода» одного в другое. Важно усмотреть единство глубинных механизмов — и осознать, почему одно и то же исторически проявилось по-разному. Точно так же, лексико-грамматические параллели не отсылают нас к единому первоисточнику — а ставят вопрос об исторических условиях развертывания универсальных организационных решений.

* * *

Логика изобретателя эсперанто совершенно загадочна. Про странности с выбором лексики можно говорить долго. Но, казалось бы, как можно накосячить в столь простой грамматике? Оказывается, для дури места никогда не бывает мало…

В эсперанто предусмотрена базовая схема образования наречий: к основе добавляется окончание *-е*. Но автору очень хотелось выделить предлоги в отдельную категорию — и он изобрел для этого особое окончание *-ай*, которое при заимствовании заменяет традиционные для европейских языков окончания: *antaй* (латинское и испанское *ante*), *kontraй* (французское *contre*), *malgraй* (французское *malgré*), *apenaй* (французское *à peine*), *ĉirkaй* (латинское *circa*). Казалось бы, пуркуа бы не па? Пусть не путаются со стандартными окончаниями существительных, прилагательных и глаголов. Сюда же примыкают *adiaй* (от *adieu*), *laй* (от *le longe de*), а также *aй* (испанское *o*). Но зачем было производить *anstataй* и *baldaй* от немецких *anstatt* (английское *instead*) и *bald* соответственно? В эсперанто полно предлогов, заканчивающихся на согласную; если же *baldaй* считать наречием — почему не использовать стандартное наречное окончание: *balde*. С другой стороны, не вызывают никаких возражений предлоги с «чужими» окончаниями: *ĉe, de, po, tra, pri, pro*. За что им такая милость? Чтобы ассоциировалось с оригиналом? Но тогда зачем уродовать прочих самопальным окончанием? — пусть бы тоже ассоциировались… Ничему это, в принципе, не мешает. Или наоборот: давайте блюсти логику и писать единообразно: *ĉaй, daй, paй, traй, praй*… Тоже неплохой вариант. Аналогично с другими предлогами: *kunaй* вместо *kun*, *enaй* вместо *en*… От этих основ запросто образуются другие части речи: *ĉaйo, daйa, paйi, traйel, praйam*… Тогда логично и корневую основу оснастить всеми языковыми возможностями: *ĉo, da, kuni*… Гибкость языка подскакивает на порядок. Но практически того же эффекта мы добиваемся, решительно вырезая из языка искусственную

морфему и грамматически объединяя предлоги с наречиями: по смыслу это одно и то же, характеристика образа действия. Совершенно естественно выглядят *ante, kontre, krome, ene*… — при том, что громоздкий (и напоминающий множественной число от прилагательного) союз *kaj* (из греческого *και*) можно было бы смело заменить на *ke* (а союз *ай* превращается в простое *е*). Вместо крокодилистого *anstataŭigi* — удобное *anstati*. В связке с глаголами мы будем это переводить наречиями; в связке с именами — предлоги и союзы. При необходимости, можно поиграть порядком слов и добиться поэтического эффекта. В общем, все удовольствия. Минимальная реформа языка — сплошные плюсы. Но даже в искусственных языках — груз традиций… Никто на грамматические реформы не пойдет — а поскольку круг пользователей ограничен, давления народных низов нет и не предвидится. Эсперанто — всего лишь ролевая игра; так не все ли равно по каким правилам играть?

* * *

Так называемые долгие гласные арабского языка с долготой, конечно, и рядом не стояли. Отличие от кратких — не в размерах, а в качестве. Начинающему немедленно бросается в глаза (или в уши) поразительное сходство с высоким и низким тонами в японском языке, и еще более поразительное — с первым и третьим тонами китайского. Долгие субъективно выше кратких — и положение органов артикуляции у них соответствующее: щель поуже, немножко в нос… Заимствование письменности (как в персидском и старотурецком) еще больше подчеркивает качественные различия — при полной свободе метрики. Если классическая фонология думает иначе — это неправильная фонология.

* * *

Биологические обстоятельства влияют на становление сознания — и языка. Но не по сути, а только по форме. В других условиях то же самое проявится как-то иначе — оставаясь собой.

* * *

Гласные потому так и называются, что на них можно голосить, орать изо всей дури. В какой-то мере поются и плавные, и носовые… Скромнее, без пафоса. А попробуйте завопить шипящими! При всей их растяжимости во времени. Согласным остаются только всплески, мимолетные увлечения. Возможно, поэтому они тянут на себе львиную долю языковой содержательности. Так сказать, компенсировать телесную ущербность интеллектом.

Но длительность бывает разная. Например, она прекрасно встраивается в ритм. Тогда язык превращается в сплошное щелкание языком — со сменой ритма в качестве согласных. Замените звуки на жесты — и вот вам язык танца…

* * *

Подлинно глубокое приобщение к языку предполагает знакомство со всеми способами его бытования, без исключения. Когда чересчур грамотные профессионалы проповедуют языковой пуризм и презрительно фыркают на каждую «неправильность», — они тем самым признают собственную безграмотность, неумение общаться вне искусственно зауженной школьной нормы. Когда редактор солидного журнала отклоняет статью по причине неудобочитаемости из-за несоблюдения авторами формально-языковых правил и общепринятой стилистики, — он не уважает читателей, допуская, что те не сумеют понять недоступное редакторскому разумению; чаще всего, конечно, языковые аргументы используют, когда нет обоснованных возражений по делу, а открыто признаться в идеологической цензуре не позволяет та же цензура.

Чем грамотнее человек, тем спокойнее воспринимает он своеобразие речи собеседника: вовсе не обязательно это одобрять и уподобляться другим — достаточно знать и понимать.

* * *

По-французски мы говорим: *la lumière,* — но: *les ténèbres*. Аналогично по-русски: *свет* в единственном числе, *потемки* всегда компанией… За этим стоит какое-то очень архаичное отношение к миру: в нем много обособленных миров — но в фокусе только один, в который мы как-то забрели — и пока светимся.

* * *

Какая жалость! Все меньше на Земле языков — вымирают вместе с носителями. И с каждым уходит нечто бесценное, невыразимое никем и ни в чем.

Но задумаемся: когда все уже сказано — стоит ли жить?

Языки возникают не для коллекционера-лингвиста, и не как иллюстрация чьих-то теорий. Они нужны для дела. То есть, чтобы делиться. Когда не с кем, нечем и незачем — зачем язык?

Говорят: люди изобрели совершенно невероятные способы выражения — так неужели это все пропадет? Такой грамматики, как у вымирающих народов, в массовых языках не сыскать.

Ну и что? В природе на каждом шагу одна неповторимая комбинация частиц и полей уступает место какой-то другой — и нет возврата назад. Сберечь каждое мгновение — вздор. Храните только прекрасные. Да и то не все. Потому что возвращаться стоит лишь к тому, что само способно вернуться. И если нам понадобятся в жизни чудные формы вымерших языков — мы изобретем их заново, по-другому, удобнее и богаче.

* * *

Легкий вопрос: какая буква в русском языке главная? Некоторые тут же подумают про букву *Х* — и будут не правы, поскольку буква *П* завсегда главнее! Возьмите первые издания словаря Даля (XIX век): там букве *П* отведен специальный том — а остальные ютятся в общежитиях. В издании 1903 года прилепили к этому тому букву *Р* — но ютится она там с краешку, на птичьих правах…

Могут возразить: не в алфавите счастье! — почему бы не посчитать частотность букв вообще, безотносительно к позиции в слове? С намеком на традиционность буквы *Х* в живой российской речи. Но буква *П* в той же речи не менее традиционна — и к ней мы (памятуя, что в каждом слове целый мир), вслед за Гюставом Курбе, возводим *l'origine du monde*.

* * *

Неисповедимы пути морфологии… Даже искусственные языки пропитаны историей — что уж говорить о живых! Вот, у немцев: *sicher* (безопасный) → *sichern* (обеспечивать); но в словаре почти рядом: *Silber* (серебро) → *silbern* (серебряный). Логика рыдает.

Точно так же, учителя французского любят подкалывать студиозусов упражнениям на засыпку: *user* → *usage, forcer* → *forçage, étaler* → *étalage*… — но: *sauver* → *sauvetage* (вместо дикого *sauvage*). При том, что *installer* осуществляется в *installation*, а *donner* просто в *don*. Плюс морфология наизнанку: *partage* → *partager*. Так и тянет *viser un visage*… — кто ответственный за бардак?

Русский язык ничем не интеллигентнее. Равно как и прочие семиты. Надо бежать туда, где словообразования нет: в Китай, или пиджин-Британию… Спасет ли?

Разумеется, если порыться в этимологии (научно, а не методом «реконструкции»), можно обнаружить, что у внешне похожих элементов языка совсем разное происхождение — и повадки далеких предков просвечивают сквозь кожуру цивильности. Именно это позволяет делать выводы о том, что умерло много веков назад, — или о том, что еще не родилось. Нечто вроде легко заметить и в неорганической материи, и в жизни… Но пока неясно, как эту (иногда весьма симпатичную) дикость довести до осмысленного бытия разумных существ.

* * *

Нейтральная речь — по делу; экспрессивная — просто так… Так ли просто?

Материальное производство, преобразование природы, невозможно без воспроизводства субъекта — и преобразования его природы. Для разума его собственное воспроизводство становится столь же разумным намерением. Именно его и должна обслуживать экспрессивная речь — в ее развитом, одухотворенном варианте.

* * *

Игра языком при поцелуе — это эротично. В официальном предложении — языковые игры неуместны: тут надо открытым текстом… Когда судьба уж слишком разыграется — остается только показать ей язык.

* * *

Слова — форма, оболочка, внешность. И потому они могут одинаково обозначать совершенно разные вещи. Например, «неподвижность» — по отношению к человеку, или камню, или воздуху…

* * *

Строение сколько-нибудь практичного языка должно быть согласовано и с его историей, и с уровнями его усвоения. Одинаково представимы и первобытные слово-фразы, и утонченная софистика «дедуктивных» определений. *Нельзя* избавиться от примитивности — это фундамент любого языка.

И все же, в повседневных ситуациях, когда речевое общение ограничивается рамками условностей (подразумеваемой частной деятельности), можно попытаться перечислить не только синтаксические правила, грамматические формы и лексические единицы — но также и «допустимые» смыслы. При этом, вообще говоря, семантика никак не соотносится с лексикой или синтаксисом — и семантический базис вполне можно задать абстрактно, вместе со столь же абстрактными правилами соответствия формам языка, сопоставляющими семантическим схемам последовательности знаков — и наоборот. Возможно, в ряде случаев традиционно линейное (одномерное) упорядочение — не лучший выбор: например, если бы мы сумели научиться «двумерному» языку (системе соединения графических элементов на плоскости) — можно было бы обойтись без фонологии, и систему времен пришлось бы основательно пересмотреть; пространственные отношения во многом заменили бы обычный дискурс — речь как динамика плоских фигур. Отчасти такая нелинейность присутствует в жестовых языках, в иероглифике.

Разумеется, одномерность не просто пережиток — это необходимый уровень языка. Но кто запрещает нам общаться более масштабными блоками?

Одной и той же семантике могут отвечать (по крайней мере, формально) различные языки. Единство (возможность перевода) в деятельности. Взрослые не просто изучают иностранные языки — они их *осваивают*: наличный запас семантики и форм на каждом шагу сопоставляется (и увязывается) с новой выразительностью. С этим воюет «натуральный» метод — и мешает расти собственно человеческому умению видеть (и устанавливать) единство. Вместо взаимодействия культур — их рядоположенность; вместо перевода — тупое заимствование, кальки. Да, европейцу не всегда понятны тонкости японской культуры, или еврейские обряды. Аналогично, в археологии: о назначении многих артефактов можно лишь догадываться. Проще палеонтологам: есть законы физиологии — при всей вариативности и зависимости от среды. Однако общий закон рождается вместе с терминологическими новшествами и практикой трактовки эмпирических данных — иначе ничего не понять, и не рассказать другим… Приходится не просто сопоставлять базисы — но еще и разводить по уровням.

* * *

Многомерность речевой реакции:
— *характер*: избегание, формальный ответ, подкрепление действием…
— *намерение*: отторжение, укол, комплимент, протест, согласие, побуждение…
— *мотив*: внешняя необходимость, заинтересованность, самовыражение …
— *реализация*: стереотип, схематичность, оригинальность…
И так далее.
Выбор собственно языковых средств — на последнем месте, функция всего остального.
Поэтому так скучно разговаривать с роботами.

* * *

Рефлексивность речи: мы не только говорим для собеседника — но и обращаемся к себе. Включаем себя в число предполагаемых адресатов — и видим в других собственную реакцию. Когда я сам говорю себе что-то как другой — ко мне приложимы все критерии оценки, значимые параметры общения, — и тем самым моя речь изменяет контекст, смещает акценты и создает настрой на все последующее. Беседа развивается сразу на нескольких уровнях: напрямую с другим — или с собой как с другим; но все (живые или идеальные) собеседники участвуют в общении вместе с их собственными «моделями»… Предел полной отстраненности: потерять себя, видеть происходящее как бы со стороны.

Противоположные тенденции: «нагнетание» и «разрядка». И то, и другое ведет к переходу в формальное общение. Есть оптимум вовлеченности, когда я успеваю превращать внешние обстоятельства во внутреннюю историю.

* * *

Первобытный синкретизм в языке: звучание выражает ситуацию целиком, деятельность нескольких людей сразу — без выделения отдельных ее моментов или действующих лиц. Таковы первые «слова» ребенка — это не слова как таковые, и даже не фразы; единым, слитным звучанием выражается содержание, которое взрослый передал бы развернутым текстом, многими фразами. Но и в живой речи взрослых это есть: слово, обрывок слова, даже нечто совершенно неопределенное (что зовется междометием) — способно передать целый каскад мыслей, переживаний, отношений… Различие в том, что у ребенка — именно «первобытность», неразвитость речи, тогда как у взрослого — всего лишь свернутость, отсутствие внешнего оформления при ясности осознания (которое попросту невозможно у младенца).

* * *

Если у Вас всего одна мысль, краткость будет усердно набиваться Вам если не в сестры — то хотя бы в любовницы (maîtresse). Когда же на языке сразу двадцать одинаково сумасбродных мыслей — каждая из них, конечно же, претендует на лексическую полноту, — и Ваши фразы никак не могут быть короче двадцати слов!

* * *

Во всех естественных языках народная речь пестрит орнаментальными конструкциями: любой элемент языка может быть оснащен абстрактным довеском, в этом употреблении не означающем равным счетом ничего (даже при наличии соответствующей словарной статьи). Таковы постоянные эпитеты древних сказаний (*девица-красавица*); таковы парные междометия-зачины (*ой да*…), вводные местоимения (*уж ты*…; *а он, этот*…), ярлыки (*город Казань*); сюда же примыкают парные качества (*жив-здоров*) и нанизывание глагольных конструкций (*пойду ль*,

выйду ль я…). У китайцев своя специфика: все знают об их пристрастии к парным лексемам, предпочтении двусложных слов там, где (теоретически) можно было бы обойтись и половиной. Грамматический строй тюркских и семитских языков навязывает своего рода рифмовку — морфологическое сходство звучит куда весомей! В ту же строку лыко европейских языков и русского.

Характерно в эпитетах: *такая-сякая, рыжая-бесстыжая*… Аналогично «утоняющие» имена: *старушки-веселушки, ладушки-оладушки*… По сути, то же самое: *дорога от порога, шапка-ушанка*…

Кое-кто из профессионалов пытается и здесь навести единоначалие. Например, бытует мнение, что в парных конструкциях второе слово преимущественно начинается с носового согласного — иногда с шипящим затактом: *гоголь-моголь, шуры-муры, каша-малаша, книжки-малышки, танцы-шманцы-обниманцы*… По той же схеме образуются и нерифмованные пары: *кошки-мышки, ручки да ножки*… Даже пары типа *чудо-юдо* или *мумба-юмба*, в принципе, подгоняемы под правило. Плюс эвфемизмы и ритмизованные обороты альтернативной лексики. Когда к этому присовокупляют аналогичные явления других языков (европейских и не очень) — звучит очень убедительно. Как там, по-турецки? — *allı pullu, süslü püslü*…

Не рискую спорить с великими и влиятельными. Однако даже веские основания не дарят сердцу спокойствие и удовлетворенность. Допустим, они правы. Ну и что? За счет чего мычание обрело столь исключительные права? В чем смысл вековых обычаев? Пойму я это — буду знать, когда может и должно сложиться по-другому. А господство на все времена — лично мне как-то не по душе.

Бродят внутри смутные подозрения, далекие от мысли стать прозрениями. Во-первых, две с половиной группы фонологических зачинов: либо мы включаем голос сразу — либо нарастаем по гладкой кривой; а половинка — от промежуточных интонаций. Не бывает единства без противопоставления, а контраст инициалей [к] [т] → [м] [н] создает как раз то различие, которое подчеркивает фонетическое единство; полусогласные типа [р] или [л] могут интонироваться как взрывом, так и накатом, — и соответственно попадают или в первую, или во вторую команду.

В качестве пометки на полях — арабская приставка [му], столь активно работающая в деле изощренного словообразования. Учитывая типично взрывные зачины базовых корней, видим фонологический прием того же типа: контрастное расширение; слева направо или наоборот — не суть важно.

Отсюда к другому намеку: *ой ты рожь, моя рожь*… Или: *шел себе, шел*… Два шага до парных фольклоризмов: *рожь-морожь, шел-сошел*. То есть, открытым текстом: парные конструкции происходят из простого повторения со связкой — потом связка стягивается в словообразовательный элемент (вспомним о персидском [ми], которому иранская официальная орфография таки вернула право стоять отдельно), — но характер связки придает особый оттенок конструкции в целом. И тогда *шуры-муры* возводятся к (почти арабскому) *шуры-мушуры*, — да *каша-малаша* намекает на молоко…

Так от эмпирической фонетики протаптывается тропа к философии единства и различия.

* * *

Теоретики склонны трактовать слово «теоретический» по образу слова «теологический», придавая себе в собственных глазах ореол божественности…

* * *

С точки зрения производства, разные языки программирования различаются лишь стилистически: за ними стоит одинаковая архитектура. Это вполне подобно тому, как русская грамматика отличается от английской или китайской, — но речь, в сущности, об одном и том же. Только в рефлексии, на уровне субъективных суждений, начинают играть тонкие оттенки смыслов: простота, изящество, емкость, лаконичность… Все это, конечно, оживляет код. Но мы

же пишем программы для компьютеров, а не стихи! Для производства куда важнее идиоматика; на конвейере не до формальных изысков. А, вот, когда компьютеры перестанут считать просто слугами, функциональными блоками, — стилистика компьютерных языков перейдет на уровень подлинной поэзии, и мы откажемся от шаблонов в пользу творческой свободы.

* * *

Кто белый, кто черный, — а язык у всех красный!

Вот так и получается, что в большинстве языков мира присутствуют три основных цвета: черный, белый и красный. Остальные цвета гуляют от одних оттенков к другим. Но здесь — полная определенность. И должны для этого быть, помимо юмора, серьезные основания.

Для мистика-компаративиста, конечно, раздолье: можно лишний раз объявить язык изначальной общностью и потом ничтоже сумняшеся выводить это единство из генетики давно вымерших богоподобных. Нетрудно догадаться, что подобные «исследователи» неизменно питают слабость к символике цвета и не преминут лишний раз помянуть Рембо, Скрябина или Хлебникова… Разумеется, символизм у них — первобытно примитивный: это единственно правильное и навсегда установленное соответствие. У которого не может быть истории. Про многомерность цветового зрения кое-кто наслышан — однако какое дело внеисторической идее до низменного материализма? Зрите как хотите — а мы уже дозрели…

Знакомство с музыкой не дальше элементарной теории — только запутывает дело. Почему в музыке столько непохожих друг на друга звуковых систем, строев? — в ответ: а разве есть что-то еще, кроме клавиш фоно? Как на единой 12-тоновой основе возникают качественно разные тональности и лады? — в ответ: на барабане все одинаково, и нам по барабану… Канонизировали набор частот — и довольны. А суть музыки в том и состоит, чтобы уйти от однозначности, обыграть тяготения, подышать интонациями…

Любые явления языка — из практики. На (исторически долгом) этапе выращивания цивилизации из первобытного стада мы прежде всего учимся отличать одно от другого. Не абстрактно, как общее впечатление, — а по отношению к деятельности, к ее продукту. Одно годится, другое нет; только потом возникают градации, и появляются задачи следующего уровня: что не очень годится — сделать пригодным. Как узнать, что молчание не звук, а тьма не свет? Только научившись делать и то, и другое. Именно плоды нашего труда мы и обозначаем условными знаками. И говорим только о них.

Белое и черное — первичные категории примитивного мышления. Не потому, что природа предъявляет их нам каждый день и каждую ночь, — а потому, что мы учимся из практических соображений заслонять свет и рассеивать тьму; отражение этих действий-потребностей-продуктов-условий в языке исторически увязано с властью над огнем — зародыш власти над людьми, а через много веков — и над собой. Мир предстает противоположностью светлого и темного, видимого и невидимого, — и неважно, что все вообще цвета свалены в одну кучу (как все оттенки тьмы — в другую). Но время идет — и внутри каждого полюса всплывают свои различия. В конце концов — революция: выйти за рамки первичной противоположности, найти то, что нельзя назвать ни белым, ни черным, — ни в каком приближении. Это другое как раз и символизирует в языке красный цвет. Черное и белое сами по себе — не цвета: они представляют идею освещенности. Красное — идея окрашенности. Независимо от освещенности. Назло ей.

Почему именно красное? Все оттуда же, от возможности сделать. Мы можем пустить кровь, слепить глиняный горшок, разрисовать морду и стены пещеры. И неважно, что первоначально красным называют и коричневое, и желтоватое, и бурое… Главное, что эту окрашенность мы делаем своими руками — в отличие от ярко-желтого, зеленого и небесно-голубого (грани света) или темно-синего и темно-зеленого (вестники тьмы). Древние краски — киноварь и охра (в которой, по модели RGB, доминирует именно красная компонента).

Но красные угли — между мрачной золой и сияющим огнем. И возникает единство освещенности и окрашенности — цветовая гамма, спектр. Подобно тому, как в музыке первичное различение высокого и низкого тона — в противоположность тонам разного качества, — становится первым в истории звукорядом: октава, разделенная на две части, — неравные, ибо

квинта все-таки ближе к высокому тону, а красное — родственно видимому. Начинается история других категорий: *качество, количество, мера*.

* * *

Различия языков поучительнее сходства. Они говорят о сходстве другого уровня — глубинного? — или высокого? Разные знаки — для общей идеи. И здесь ключи к древнейшей истории языка: сначала то, о чем говорят, — а остальное приложится.

По жизни — большого желания встречаться со змеями нет. Но для лингвистики они существа небесполезные. Хотя бы потому, что называются в разных языках не слишком похоже. В русском языке две разные идеи: *змея* как нечто изменчивое, изначально непрямое, — и *гад* как возможность вляпаться в неприятности. Аналогично относится к змеям и латынь: одно дело ползать да пресмыкаться (*serpens* — от *serpere*), и другое — травить ядом (*vipera*). Эхом латыни, с одной стороны, испанские *siepre* и *serpiente*, итальянское *serpente*, французское *serpent*, — а с другой (в тех же языках) *víbora, vipera, vipère*. В испанском, правда есть еще и местное *culebra* (от *шататься из стороны в сторону, лавировать*). Но самое веселье начинается с немецким *Schlange* и английским *snake* — это уже из какой-то другой оперы, хотя и на ту же тему исконной кривости. Дальше — больше; вспомним о древних греках, с их странным ὄφις, — и о современных эллинах с их не менее странным το φίδι (но тоже от слова *изгибаться*). В конце концов — кутить так кутить! — арабское حية [хайя] (от *свертываться в клубок, в кольцо*) и турецкое *yılan* (которое ни на кого не похоже и ползает само по себе). А весь этот букет рождался на сравнительно небольшом клочке земного шара, у народов с издревле переплетенными судьбами!

Мудрость простая: не от законченности к разобщению, а от великого разнообразия к единству. Не абстрактно — а по настоянию совместного опыта.

* * *

Посмотреть на меня — одно. Посмотреть на свет — другое.

Впрочем, это как посмотреть…

* * *

Еще о семантической относительности: французское *balançoire* увязывает качели с балансом, с поиском равновесия; напротив, русские *качели* (равно как и английское *swing*, и немецкие *Kippe* с *Shaukel*) созданы для того, чтобы равновесие терять. Но в любом случае это хотя бы имеет отношение к идее равновесия — и потому мы называем языки родственными. А где-нибудь качели вообще не будут дела ни с равенством, ни с весом… Скажем, испанское *columpio* — от морских волн, — от образа, а не от действия.

* * *

Рефлективная физика: истина глубока, правда всегда всплывет, а фантазии могут и воспарить… Надежды тают, испаряются или лопаются. Память тускнеет. Порыв угасает.

Только метафоры?

* * *

Умение что-то сказать — это еще не речь. Язык начинается там, где мы вдруг понимаем, что же такое мы сказали…

* * *

Вид бывает совершенный и несовершенный. У некоторых — бывает странный.

* * *

Сослагательное наклонение — чтобы сложить с себя ответственность.

* * *

Если вы знаете язык — вы поймете при любой артикуляции и вообще без артикуляции. Когда не знаете — идеальнейшая артикуляция не спасет. Восторгаться красотой иероглифа можно и вне Китая. Однако шедевры каллиграфии прославленных китайских и арабских писцов европейцу по большей части скучны. Точно так же, как немногие способны оценить по достоинству турецкий фольклор, индийскую рагу — и даже европейскую барочную оперу! Чтобы увидеть танец — а не только хореографию, — надо быть танцором (хотя бы в душе). Философию заметит только философ. Ученые способны разговаривать только между собой. Красивая радиосхема или шахматная партия — непосвященным не говорят ни о чем.

Почему так? Да потому что язык не просто вещь — это материализованное единство душ. Надо чем-то заняться вместе? — мы по любому договоримся. Не нужны друг другу — каждый артикулирует в себе, и даже не для себя.

* * *

Чаще всего мы не замечаем опечаток — контекст подсказывает готовые решения, как китайский компьютер — иероглифы по первым буквам транскрипции. Но некоторые опечатки не безобидны: одинокий — это одно, а одноокий — совсем другое… Омонимия? Или возникновение флексии из полновесного слова (подобно персидскому *ми*-)?

* * *

У европейских знаменитостей длинные имена. Например: *Шарль Луи де Сегонда, барон де Ла-Бред и де Монтескье,* — а в обиходе: *Монтескье*. Или: *Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц,* — которого мы зовем коротко: *Гельмгольц*. Точно так же в обиходе урезают и прочих: *Монтень, Мюссе, Сервантес, Бетховен*… С другой стороны кое-кого мы таки от «аристократической» частицы де не отделяем: *д'Артаньян, Декарт, Даламбер*… Даже внутри примерно той же эпохи: *Ронсар — д'Обинье*; *Ришелье — де Бержерак*. Заметим: это не только в переводе — соотечественники тоже склонны сокращать, по тому же принципу.

В качестве далеко идущего предположения: существуют всеобщие принципы. Когда имена собственные вдруг становятся нарицательными. Пока соединение человека с его атрибутами носит характер исторической случайности — ему не пристало разбрасываться кусками имени; для истинного аристократа — большой разницы нет, ибо целое восстановимо по мельчайшему фрагменту. Например, ссылка на место рождения (или родовое имение, или место битвы…) у плебеев становится приложением к личному имени: какой такой Иван? — а, тот, из Дамаска… Для крупной личности наоборот: местности знамениты их порождениями — все знают, кто пришел из Стагиры! В особо крупных тиражах — уже и прозвища не нужны, достаточно личного имени: *Пифагор, Александр, Леонардо, Наполеон*…

Отчасти это можно отнести и к арабским именам (хотя сами арабы не станут опускать все эти *ал*- и *ибн*-). Там же, где атрибут зашит в имя (например, в качестве особого окончания) — от него уже не избавиться: родовой признак становится родовым пятном — и много лишнего выбалтывает о корнях. *Петров* — это совсем не *Петренко*, не *Петрицкий*, и не *Петрушевич*; *Петерсон* однозначно отличается от *Петермана*. Аналогично у грузин, где форма до сих пор

сохраняет следы сословного содержания: *Чабукиани* заведомо выше *Чхортишвили*, — но тот может свысока посматривать не какого-нибудь *Георгадзе* (не путать с камикадзе!).

Высший аристократизм — отказ от аристократизма. Что имя? Была бы роза. Поэтому *Дидро* не превратился в какого-нибудь *д'Идро* — а *Достоевский* не стал *д'Остоевским*…

* * *

Выражение *сиять как сапог* вовсе не обязательно отсылает нас к полированной ваксе. Иной раз оно ассоциируется с турецким *siyah* — и говорит о цвете (или об отсутствии оного).

* * *

Слово *руководитель* можно понимать по-разному: либо кто-то двигает свои руки — либо руками передвигает кого-то другого. Оба варианта — из жизни.

* * *

Плохой *chauffeur* по-французски *chauffard*.

Неумелого танцора тогда следовало бы называть *dansard*.

Не способный как следует испугаться — будет знаком со словом *pard*.

Недостаток сердца — *card*. Мы уже на другом берегу пролива?

* * *

По-русски мы говорим: *спокойной ночи, добрый день, доброго пути*… Турки подходят к делу фундаментальнее: *iyi geceler, iyi günler, iyi yolculuklar*… То есть, желают чего-то не только сейчас, а с хорошим запасом. Просто идиоматика? Не бывает таких случайностей!

Ср. французское: *bonne journée, bonne soirée*. Здесь другое решение: не много чего-то, и не целиком, — а некоторая порция, горсть (*poignée*)…

* * *

Еще забавный исторический эпизод: в Турции первые двухколесные пароходы как-то не прижились — но остались в языке идиомой: *yandan çarklı*. Исходное значение в словарях запихивают в самый конец — как вторичное и несущественное. А в обиходе (достаточно узком) лишь переносные значения: нечто (по каким-то приметам) похожее. Например, какого-нибудь пустомелю запросто могут так обозвать — один шлеп губами… А также его продукт — чистый вздор. Кофе и чай, поданные с двумя кусочками сахара на блюдечке — ярко визуальное напоминание (тем более, пар посредине). Когда кто-то сгруппируется и прет сквозь толпу — у нас это ледокол, а у них — тоже пароход (видимо, играет ощущение громоздкости, когда только уворачивайся). Но судоходное прошлое таки вылезает: водный велосипед — полный аналог неторопливого и неэкономичного плавсредства.

* * *

Когда что-то запаивали в язык тысячи лет — трудно уйти от дурной интуиции.

Этика по-немецки: *Sittenlehre* — учение о нравах. Латинское *moralis* также от *mores* — нравы. Русское нравственность — оттуда же. И по-гречески: ἦθος — нрав, обычай.

Как может человек, желающий вести себя по-человечески, не стать частью толпы — связать действие с объективной необходимостью развития культуры, — не следуя мнениям, законам и традициям, а по глубокому убеждению, из практики? Для этого нет слов.

* * *

Silvie Vartan говорила, что самые простые бытовые фразы (вроде *Cherie, ouvre la fenêtre !*) по-французски звучат уж очень эротично… *La mer* по-французски женского рода, *le fleuve* мужского; одно впадает в другое — такая, вот, эротическая география!

Заодно повод к глубокомысленным выводам о далекой первобытности: в одно море впадает много рек — но река (почти всегда) впадает только в одно море…

* * *

Споры о том, как надо переводить Аристотеля, подменяют перевод текста переводом терминологии. Сетуют на переосмысление большинства греческих слов в составе европейских языков — и заведомо неправильные коннотации. Жалуются на непоследовательность Аристотеля, который, якобы, частенько «забывает» о собственных терминологических новшествах и сбивается на просторечие или даже идиоматику. Сетуют на различие грамматики языков — и «научные» переводы пестрят вставками в квадратных скобках: слова, которые в греческом не нужны, а европейскому и русскому читателю для ясности необходимы. Самое тяжкое обвинение: вместо того, чтобы говорить о значениях слов, Аристотель говорит об особенностях предмета, этими словами обозначаемого. Преступление против позитивизма.

Но тексты Аристотеля — не наука. Это философия. Желание разобраться в сути дела, а не поразить читателя виртуозностью слога, и не скомпоновать формальную систему. Конечно, приходится разгребать языковые случайности (в смысле исторически вовсе не случайных обычаев — но лишних в данном контексте). Но языковое чутье никто не отменял, и было бы странно не использовать интуитивно понятного, чтобы сделать понятным неочевидное. Аристотель совершенно справедливо отмечает: если о разных вещах говорят одинаково — это, скорее всего, не просто так. И пытается обнаружить скрытые связи, выявить единство (для этого и нужна философия). Точно так же, можно об одном и том же говорить по-разному — и здесь важно понять, зачем это кажущееся излишество.

Науки в современном понимании во времена Аристотеля не существовало; научное понятие от философской категории не умеют отличить даже сегодня. Терминология — набор ярлыков для предметных действий; глупо переносить формальные схемы туда, где жизнь устроена совершенно иначе. Еще глупее — цепляться за имена, когда важен практический результат. И совсем никуда — переводить целое словарной подстановкой изолированных лексем (подобно первым образчикам машинного перевода). То есть, переводить терминологию.

Тут, конечно, два вопроса: что мы называем переводом — и зачем он нужен. И то, и другое иерархично — и не предполагает однозначного ответа. Например, подбор подходящих словарных эквивалентов вполне допустим в качестве первого этапа исследования внутренних семантических связей — если, конечно, использовать хороший словарь, учитывающий контекстные зависимости. При этом запросто может оказаться, что автор не прочь поиграть словами и наложить одну семантику на другую; это не редкость и в научных текстах — не говоря уже о поэзии. Структурный перевод — полезен для понимания первичной организации текста, которая в языке формализована в грамматических примитивах, существенно влияющих на общий строй мысли. Продолжение — «школьный» перевод, на уровне обиходных способов выражения, языковых клише. Что возможно лишь на одном уровне иерархии, в контексте определенной культуры, единой для автора и адресата. Соблюсти это правило для разговора через века — почти нереально: надо уметь переселяться в другой мир, не покидая своего.

Нормальному человеку перевод нужен для живого общения. Ему не очень интересно копаться в сопутствующих обстоятельствах, разбирать внутреннее устройство или внешнюю правильность. Если мы переводим поэзию — нужен поэтический перевод; для философии — перевод философский. По существу. Дух, а не буква. А дух нельзя переводить бездуховно. Личность переводчика не просто накладывается на личность автора — они сливаются в одно. Возникает новый, иерархический текст: на нижнем уровне то, что принадлежит по отдельности автору оригинала и переводчику, — на верхнем что-то их объединяет. Абстрагироваться от

одной из составляющих — все равно, что прыгать на одной ноге там, где удобнее пройти на двух. Когда читатель видит только перевод — он больше общается в с переводчиком, и перевод превращается в пересказ. Если есть представление о том, как это выглядело в оригинале, — возникает мерцание смыслов, текст оживает. Даже не умея читать по-гречески, полезно знать общие принципы языкового устройства, расширять лингвистический кругозор. Сопоставляя несколько разных переводов, можно уловить общее для них — и составить собственное мнение о личности автора, о его взглядах и манере письма. Обойтись стандартным («каноническим», «критическим», «научным») переводом тут никак нельзя. Фактически, начинается с общения современников — в каждом из которых тот же Аристотель оставил свой след, и которые в этом смысле становятся его неорганическим телом, коллективным носителем его духа, его бессмертием.

* * *

Когда заходит речь об интерпретации текста, нужна осторожность: многое зависит от личности интерпретатора и обстоятельств интерпретации. Поэтому никогда не следует уж очень доверять выводам, сделанным из (всегда одностороннего) толкования. Это уже не наука, а что-то другое. Либо другой уровень науки, где свои законы и особая логика.

* * *

Нет закона — нет оснований призывать к порядку. Коллекционирование казусов — дурная практика. Пока мы не знаем, как к чему относиться, — и относиться не к чему.

* * *

Когда люди занимаются серьезным делом, это имеет смысл пристально разглядывать — но обсуждать нечего. Самое большее — поблагодарить, что привлекли внимание; а для себя — только заимствовать, что по сердцу, да пойти дальше.

* * *

Полисемия неизбежна. Слов всегда не хватает — а жизнь бесконечна. Волей-неволей придется одно слово использовать по разным поводам. Сначала на уровне близкого родства — потом цепочка все длиннее, и где-то рвется… Остаются омонимы.

То же самое — в разделении и дивергенции ранее родственных языков. Но это совсем не то, о чем болтают компаративисты: не спонтанный распад, а давление извне.

Реестры слов, различение языков — всего лишь условность, способ говорить о том, что никоим образом не предполагает именно такого деления — хотя и не запрещает его.

* * *

Как все по-разному думают! По-русски: я думаю о тебе. По-английски: *I think of you*. Французы говорят: *je pense à toi*. У испанцев: *pienso en ti*. Прямо как у арабов: أفكر فيك.

Что называется: был бы предлог…

А турки умеют и без предлога: *seni düşünüyorum*.

* * *

Схемы — тоже язык. Но они принципиально не одномерны: их приходится читать — развертывать иерархию. Но общение (превращение языка в речь) не требует одномерности.

Вероятно, на каком-то витке культурного развития возможен универсальный язык с неодномерными структурами. В нем не будет никаких имен, действий или состояний — но все это предполагается при определенном прочтении, а прочтет каждый по-своему.

* * *

Amor — это нечто заведомо аморальное…

* * *

Масло масляное — вовсе не тавтология! Это выражение определенного качества. Которое само по себе к маслам отношения не имеет. Всякий эпитет говорит об отношении к вещи, а не о самой вещи. И мы вполне можем сказать: *какое-то это масло не масляное*… То есть, не отвечает наши ожиданиям или требованиям.

Тем более *масло масленое* — не дефект орфографии, а указание на способ обработки, приведения к видимости масла. Отглагольное прилагательное от *маслить*. То есть, если масло недостаточно масляное, можно его как следует вымаслить. Подобно тому, как крашеное от процесса крашения, а мышленое (не путать с мысленным!) от мышления.

* * *

Обращение иерархий: если одно связано с другим — то и другое связано с этим первым, но характер связи будет уже иным… Лингвистическая иллюстрация: *день* и *ночь* — противоположности: но переход из ночи в день (*утро*) — иного рода, нежели переход от дня к ночи (*вечер*).

* * *

Язык не обязан быть логичным — иначе как бы мы общались там, где логика невозможна, и даже вредна? Однако что мешает логике приспособить для своих нужд и нелогичности языка? Например, логическое значение может существенно зависеть от интонации — и надо еще исхитриться логическую сторону интонации формализовать! — в результате и в языке интонация превращается в область грамматики, и горизонт неформальности отодвигается на пару шагов. Точно так же, возможна некоммутативная логика, в которой порядок слов (термов, формул…) имеет значение — и рассуждения по разным путям могут приводить к противоположным выводам. Это богатство логики, а вовсе не противоречивость. Наука вполне осмысленна — и говорит о том, что при каких-то условиях вполне может быть. Вроде того, как в общей теории относительности вводят кручение. Но не будем забывать и о языке: любые логические находки расширяют формалистику языка — и позволяют придумывать (а значит, и претворять в жизнь) все новые нелогичности.

* * *

Для языка важно не происхождение слов, а способ их бытования внутри языка. В этом смысле «народная этимология», при всей своей антинаучности, может гораздо точнее отражать действительные лексические структуры, строение материала речи. Предъявите мне какие угодно теории — но я буду говорить так, как слышу. Когда простонародье «перевирает» забугорные заимствования — это, конечно, говорит о культурной ограниченности, — но это и проявление культурного единства, механизм снятия иноземности, *освоения* слов. Умение ассоциировать родной язык с другими — невозможно без хотя бы минимального ознакомления с новыми

лингвистическими мирами; это другой уровень языковой культуры. Здесь, в условиях реальной многоязычности (хотя бы не выходящей за рамки внешнего знакомства), мы воспринимаем лексику по-другому: дополнительные ассоциации, расширение структур. В качестве синтеза — игра, перетекание внешнего во внутреннее и наоборот. На каком-то этапе мы начинаем усматривать внутренние и внешние связи и в иностранных языках; ученый лингвист глубоко копает и вытаскивает на свет неожиданные взаимовлияния — но ничего криминального в том, чтобы просто сродниться с языком, чтобы заново начинать с внутреннего единства, которое для носителя этого иерархического языка не делится на свое и чужое.

* * *

Если я не знаю, чего хочу, — могут быть разные причины. Например, я вообще ничего не хочу. Или хочу — но не чего-то конкретно, а вообще. Возможно, мое отношение к хотению просто не сводится к знанию — и требует иных имен. Наконец, мои хотения вполне могут обойтись и без меня, и знать уже некому…

* * *

По-русски: *пролив*. По-французски: *détroit*. Для русских мир состоит из разных частей, которые можно как-то приделывать друг к другу. Для французов — мир един, но кое-где бывают сложности с логистикой… Точно так же, русское *друг* — разъединяет, располагает вовне; французское *ami* (латинское *amicus*) — объединяет, устраняет барьеры. Тысячелетние корни менталитета.

* * *

Несколько полезных падежей, которых так не хватает русским существительным:

Наказательный (пунитив) — отвечает на вопрос «за что?»
Объяснительный (экспликатив) — отвечает на вопрос «на фига?»
Заключительный (финитив) — когда вопросов больше нет…

* * *

Жду целых десять минут. Потом целый час. И так целый день… Все однообразно целое.
Пора переходить на английский: *a whole day, a full hour, a good ten minutes…*
Какое ни на есть разнообразие.

* * *

Обычаи некоторых языков поначалу кажутся странными. Но оглядевшись по сторонам мы вдруг замечаем, что у других имеется то же самое — и даже в больших масштабах. Например, словарная интонация слов в японском языке отличается от интонирования тех же слов в потоке речи. С чего бы это? Но тут на глаза попадаются арабские ударения, которые тоже не прочь погулять с одного места на другое при склеивании слов в предложении или при переходе от полного произношения к усеченному. И все на местах: японская речь точно так же меняет границы, склеивает слова — с естественным переносом (тонового) ударения. В конце концов, и по-русски мы говорим синтагмами, и словарные ударения нам не указ.

* * *

Змея — змеится. Струя — струится. А эта свинья что здесь делает?

* * *

Каламбуры — это, конечно, не для серьезной науки… Но по жизни — очень даже распространенное языковое (причем чаще именно языковое, а не литературное) явление. Как прикажете тогда собирать статистику? Фразы *Ей уже не нужен кот* и *Ей у Жени нужен код* — очень разные и по смыслу, и по словарному составу… Но автор — зараза! — запросто имеет в виду сразу оба прочтения. Плюс комбинаторика: например, кота с кодом допустимо переставлять между фразами. Весело! Когда же дело доходит до высокой поэзии — нам теория информации вообще не указ. Потому что мы всегда вправе состроить что-нибудь потомучнистое. В расчете на собеседника разной испорченности. Искусство порождает разнообразие, а не подводит его под статистический монастырь. А если бы оно этим не занималось — чем заняться науке?

* * *

Можно взять вещь крупным планом — а можно сослаться на мелкость масштаба… Аналогично в других языках: *en gros plan — à petite échelle*. Но суть в том, чтобы разглядывать или делать не все целиком — а всего лишь детали (*en détail*).

* * *

Где-то *-ai-* читают как [эй]. Где-то наоборот: *-ei-* читают как [ай]. А кое-кому все едино, и вместо всего этого — сплошное [э]…

* * *

Лингвистика — наука классовая. Как и все остальные. Так легко оправдать любую мерзость ссылкой на «порядок вещей», на «историческую традицию», на «идиоматику»… Например, в словаре французских идиом читаем в качестве иллюстрации:

L’inégalité existera toujours ; il faut en prendre son parti.

Никакой пропаганды! — всего лишь практика словоупотребления… Сколько таких «иллюстраций» навешано на другие словарные статьи! А про теоретические трактаты — подумать страшно.

* * *

Про то, как в некоторых языках согласные становятся полугласными и даже вполне слогообразующими гласными — все наслышаны. Забавно, что даже в очень европейских языках, где все давно уже по теоретическим полочкам, народная речь сплошь и рядом занимается точно такой же подтасовкой. Например, у Сальваторе Адамо в песенке *Puzzle* гласность фонемы [l] требует не только отдельного слога, но и доли музыкального такта (хотя бы и не самой сильной)!

* * *

Невозможно «выглядеть подозрительно».
Подозрительным можно только быть.

* * *

Русский язык откуда-то позаимствовал модель образования множественного числа: *ребенок — ребята, поросенок — поросята, опенок — опята*… С некоторым напрягом возможна также пара: *миленок — милята*. И даже: *бочонок — бочата*; хотя здесь явно преобладает свое

родное: *бочонки*. Но с *подонком* однозначно ходят *подонки*, а с *воронкой* — *воронки*. Женский род тяготеет именно сюда: *печенка* — *печенки*. И на этом фоне вдруг: *девчонка* — это не только *девчонки*, но еще и *девчата*! С чего бы? Напрашивается суждение о ментальности: где-то сидит в глубине нелитературный *девчонок* — означающий не просто экземпляр девишности, а саму девичью суть в единичном воплощении…

* * *

На дураков не обижаются. Обижаются дураки.

Слова сами по себе — ничего не значат и ни на что не намекают. Грязные помыслы — только у некоторых не совсем людей. И тем не менее, всяческие великодержавные меньшинства принимают близко к сердцу клички и прозвища — вплоть до административной и финансовой ответственности (а иной раз и убить запросто).

Я не такой знаток армянского языка и быта, чтобы понять, что зловредного в прозвище «хачик», — а этнос поднимается на рога. Американским неграм дозволено называть черными (и даже ниггерами) самих себя — но когда то же самое скажет кто-то посветлее, это расизм. Когда французского мужчину называют *mec*, ему это льстит; а для араба имечко *beurre* — наглое оскорбление. Хотя и то, и другое образовано по стандартной схеме французского верлана от *homme* и *arabe* соответственно, и ничего другого в принципе означать не может.

Предположительно, что у любителей не то иметь в виду и неадекватно воспринимать — что-то не так с головой. Оно и понятно: как только некто начинает противопоставлять себя (индивидуально или в составе коллектива) всему остальному человечеству — он перестает быть разумным существом и становится всего лишь вещью, винтиком или органом враждебного всякому инакомыслию (да и мысли как таковой) целого. Деформированная культура (то есть, дефицит культурности) деформирует психику. По-русски такой деформированный называется дураком. По словарю. Так что — без обид!